



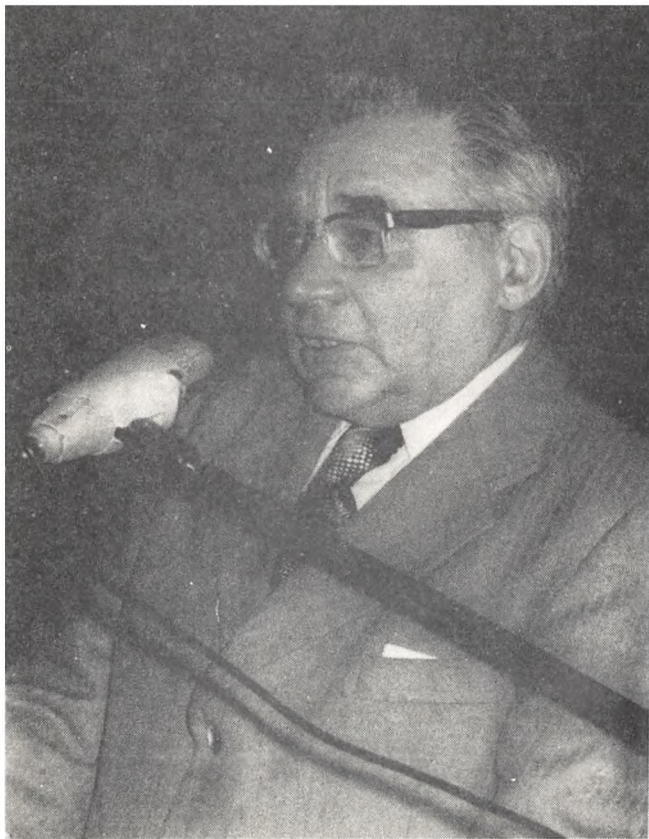
**А. КРАСНОВ-ЛЕВИТИН**

**ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ...**

**(ЭМИГРАЦИЯ)**

**2**





*А. Э. Краснов-Левитин  
1975 г. Ленц, Австрия.*

**А. КРАСНОВ-ЛЕВИТИН**

**ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ...**

**(ЭМИГРАЦИЯ)**

**Выпуск второй**

**«ПОИСКИ»**

**ПАРИЖ**

© Copyright 1986 by A. Krasnov-Lévitine  
Editions «Poiski» 2, rue Henri Koch,  
94000 Créteil, France

## ДРУГУ — ЭМИГРАНТУ...

Дорогой друг — товарищ по несчастью!

Пора нам с тобой познакомиться, поговорить по душам, ибо до сих пор мы были знакомы заочно.

Вот уже двадцать шесть лет, с тех пор, как стал заниматься самиздатом в России, посылаю тебе мои рукописи. Ты пишешь о них критические статьи, осыпаешь меня похвалами и проклятиями, комплиментами и ругательствами.

Мною изданы на русском языке тринадцать книг. Эта — четырнадцатая.

Первоначально ты ими зачитывался, и многие из них, изданные несколько лет назад, уже стали библиографической редкостью.

Но последнее время ты ко мне охладел и мои книги лежат на полках, ожидая, по меткому выражению Энгельса, "грызущей критики мышей".

Чем это объяснить?

Тем, что я "двух станов не боец". И в одинаковой степени чужд и Москве и Нью-Йорку. И Кремлю и Белому дому. И КГБ и ЦРУ (так называемым советологам).

Во-вторых, к удивлению многих, привыкших, что русские эмигранты становятся, очутившись за границей, монархистами или полумонархистами, я здесь, как и в России, остаюсь социалистом, демократом, врагом в одинаковой степени и советского деспотизма, и западного, торгашеского строя (по-ученому — тоталитаризма и капитализма).

Приверженцы обеих сторон платят мне через своих агентов взаимной неприязнью, делают все, чтобы предотвратить распространение моих книг. Они хотят во что бы то ни стало парализовать мою деятельность. Пока это им не удастся.

И, находясь между двух огней, — двух разведок, я верен идеалам своей юности.

И эту книгу я посвящаю памяти Бориса Ивановича Григорьева, умершего от голода 23-го февраля 1942 года. Его памяти я посвятил тогда следующие строки:

Памяти Бориса Григорьева.

Вошел и запомнил навек:  
Юноша в смертном сне,  
Золотой в головах человек,  
Луч в замерзшем окне.  
Клятву я дал тогда,  
Священный и страшный обет:  
Не страшиться людей никогда,  
Богу давать лишь ответ.  
Страстью к свободе гореть,  
В несчастье быть молчаливым.

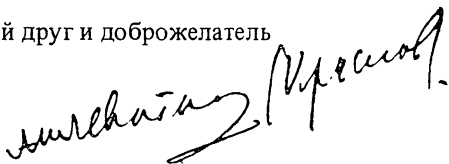
В битвах себя не жалеть.  
Пред смертью не стать боязливым.  
В сердце остались навек:  
Юноша в смертном сне.  
Золотой в головах человек.  
Луч в замерзшем окне.

В этой книге я рассказываю о моих первых шагах на Западе, о посещении европейских столиц, о православной церкви за границей. О ее иерархах и рядовых священнослужителях и мирянах. Я посвящаю особое эссе книге семьи Зерновых. Не только потому, что эта книга заслуживает пристального внимания, но и потому, что при ее помощи можно проследить события от 1914 года до наших дней, эволюцию русского эмигранта, русского интеллигента и верующего христианина.

Прими эту книгу с миром и прочитай ее внимательно.

Иногда полезно бывает взглянуть на себя в зеркало.

Твой друг и доброжелатель

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Михаил Кравцов". The signature is fluid and cursive, written over the printed name "Твой друг и доброжелатель".

14 апреля 1986 года, Luzern — Paris





## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

”По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там...”

И начался период кочевья. Кочевья по Европе. Мне это по сердцу. Я ведь старый бродяга. С детства. Когда убегал из дому

Франкфурт. Опять ”Посев”. На этот раз пресс-конференция. В своеобразной компании. С бывшим диаматчиком. Остановился в квартире одного из деятелей ”Посева”. Рядом квартира покойного Льва Александровича Рара. Колоритная личность. Сдержанный. Молчаливый. Деловой человек. Высокого роста. Перебитый нос, что придает некоторый мрачный колорит его облику. Как потом узнал, — травма, полученная в студенческие годы, во время дуэли. Заехал за мной, чтобы отвезти меня на машине в ”Посев”. По дороге — лаконично: ”Поступило известие из Москвы. Вчера арестован Осипов”. Почувствовал режущую боль. Как живой, предстал он предо мной. Тяжеловатый, бесхитростный, серьезный. С хорошим, открытым, русским лицом. Тут же выступил в его защиту. И познакомился с неким Иваном Ивановичем Агзузовым. Он деятель Общества за-

щиты прав человека. Впечатление: типичный управ- дом из семизэтажного дома, где-нибудь на окраине Питера. Сходство довершалось еще тем, что обще- ство это помещалось где-то в полуподвальном эта- же, как обыкновенно конторы больших домов. (По-старому, жакты). Начали звонить в Москву. К Сахарову. Сведения об Осипове (увы!) подтвержда- ются.

Пишу очередную статью. Обсуждаем меры, ко- торые можно предпринять. Часа два в обществе мое- го нового знакомого. За это время первое впечатле- ние не рассеивается. И по внешнему виду, и по мане- рам, и по складу речи — типичный хозяйственник. Я все ожидал, что заговорит об очередном ремонте паро- вого отопления. Ну, что поделаешь! Не всем же быть академиками...

А на другой день — на самолет. И в Вену, по приглашению кардинала Кенига. На этот раз на аэро- дроме меня встречают сразу двое: мой уже теперь старый знакомый Михаил Николаевич Окунев и не- кто в шикарном авто. Автомобиль кардинала. От- туда выходит пожилой, улыбающийся человек, ук- раинец, униатский священник. Он везет меня в ду- ховную семинарию. Это в центре Вены. Против аме- риканского посольства. Семинария — огромное зда- ние, выстроенное в прошлом столетии, чтобы гото- вить священников для периферии. Тогда, когда Ве- на была столицей огромной империи. Семинария должна была выращивать священников мировой державы, где никогда не заходило солнце. Для Хор- ватии, Боснии, Герцоговины, — характерно, что в

вестибюле статуя албанского епископа. Несколько этажей. Великолепные аудитории, прекрасные комнаты. Но увы! Учащихся нет. Всего четыре десятка. Это в какой-то степени символ. Символ современной Вены. Огромной столицы маленького государства, живущего воспоминаниями о былом величии.

Мне отводят великолепные две комнаты. Напротив, через дорогу, покои, где живет знаменитый венгерский кардинал. Миндсенти. Утром, в 6 часов, подходя к окну, вижу, как напротив распахивается окошко. Окно открывает пожилой человек в серой сутане. Это и есть многострадальный венгерский кардинал. А в 8 часов утра за мной приезжает мой вчерашний знакомый, униатский священник, везти меня к другому кардиналу. К кардиналу Кенигу, правящему венскому архиепископу.

Здесь все совсем по-другому. Дворец. По масштабам, по роскоши, не уступающий дворцам русских императоров — Аничкову, Царкосельскому и Петергофскому. Поднимаемся по мраморной лестнице. На втором этаже — позолота. Но в позолоте — пробоина. Она сделана в 1938 году, когда Вену взяли нацисты. При кардинале Иницире. Решили не заделывать. Оставить память о нацистах. Через анфиладу комнат. Выходит пожилой человек. Типичный профессор в долгополом сюртуке, в реверенде. Я его видел в первый мой приезд в Вену. И даже дважды. Один раз во время мессы у Святого Стефана и второй раз в тот же день в одном из храмов Вены, во время шествия... мясников. Мясники, справляя свой праздник, в белых халатах, с хоругвями в ру-

ках, шли перед кардиналом, который благословил их на дальнейший труд и на христианскую жизнь. Но тогда, в полном кардинальском облачении, он выглядел иначе. Я бы его не узнал. По православному обычаю я подошел к архиепископу под благословение, сложив руки ладонями вверх. Он благословил меня также православным именословным благословением. Затем уселись. Подали кофе.

Спокойно, в профессорской манере, архиепископ-кардинал стал расспрашивать меня о положении русской православной церкви. Священник-униат был переводчиком. В заключение беседы кардинал попросил меня составить для него меморандум. Договорились, что для этого понадобится неделя.

Затем вежливое молчание. И снова благословение. На этот раз я пробыл в Вене неделю. Много ходил по городу. В воскресенье был в униатской церкви Святой великомученицы Варвары, где служил мой новый приятель, чичероне и переводчик. Церковь, выстроенная в конце XVIII века, при императоре Иосифе II, современнике Екатерины Второй; характерно, что это единственная церковь, которую выстроил император-антиклерикал, знаменитый гонитель попов и монахов.

Либерал, он считал нужным заигрывать с украинцами — своими подданными из Галиции, и оставил по себе во Львове хорошую память. На этот раз я не только бродил по храмам, гулял по Пратеру, но и много разговаривал с людьми (немецким, хоть и плохо, но все-таки овладел), и для меня стал раскрываться дух города.

Когда-то мой друг Вадим Шавров так писал мне с Кавказа: "Привет тебе из легкомысленного, изящного, но не злого Кисловодска". Это было хорошо сказано про Кисловодск. Это самое можно сказать и про Вену. Она очень отличается от всей остальной Австрии. Может быть, потому, что на протяжении столетий она была столицей огромной империи, где австрияки составляли лишь ничтожный процент населения. Сюда стекались огромными массами славяне — поляки, украинцы, хорваты, словенцы. Евреи Западной Украины (предприниматели и коммивояжеры) придавали древнему городу некоторый "одесский" колорит. Мадыяры, румыны, валахи и молдаваны, — сообщали городу нечто экзотическое, своеобразное. Тирольцы, итальянцы, турки, — кого здесь только ни было. И всё это перемешалось и создало оригинальную этнографическую разновидность — венцы.

Когда-то великолепно уловил дух города, легкомысленный и незлой, — старый венец Артур Шницлер, — ныне забытый, а в начале века модный в России (известный в десятках переводов) писатель. И, наконец, может быть, ничто так не выражает дух города, как венская оперетка.

Все эти Сильвы и Марицы — ходят до сих пор по Вене. Их вспоминаешь на каждом шагу. И лишь, когда приходишь на Венское кладбище, понимаешь, что здесь была не только оперетка. Бетховен, Моцарт, Лист, — несколько подалее Штраус. Все они лежат в одном ряду. А в конце кладбища редуют кресты, — красные звезды, — русские Иваны, павшие

здесь в 1945-ом. "История — какое кладбище", — говорили французы. Можно сказать иначе: "Жизнь — какое кладбище". И даже в течение небольшого времени, проведенного в Австрии, ощущаешь обруч, который связывает всю эту разноликую массу.

Это полиция — австрийская полиция, оставшаяся в наследство от времен Франца-Иосифа. И с ней мне пришлось познакомиться в этот раз. Это было так. В это время в Вену приехал и там обосновался некто Лев Квачевский. Потомок (если так можно выразиться) меньшевистской династии. Известный меньшевик его отец, его дядя еще более известный меньшевик — теоретик, специалист по политической экономии Рубин. Сам он (по специальности биохимик) унаследовал от своих родителей приверженность к меньшевистской доктрине и (к слову сказать) все положительные и отрицательные черты дореволюционных социал-демократов: с одной стороны — честность и стойкость (и на следствии и на суде он держался безукоризненно), а с другой стороны — крайний индивидуализм, сектантскую ограниченность и крайнюю нетерпимость к чужому мнению. Я его никогда не видел, но хорошо был знаком с его сестрой, и мы имели много общих друзей. Поэтому я позвонил к нему по телефону. И мы условились, что он приедет ко мне в семинарию в 10 часов и я буду встречать его у входа.

Сказано — сделано. Ровно в десять — я на улице у входа в семинарию. Ожидаю. Вдруг, смотрю, какой-то человек ходит вокруг семинарии. Так как я никогда Квачевского не видел и он также меня в

лицо не знает, поднимая руку, — один, другой раз. Тот на меня смотрит очень пристально, но не подходит ко мне.

Вдруг через пять минут подъезжает автомобиль, и оттуда выходит какой-то весьма солидный господин и приглашает меня садиться в автомобиль. Я решаю, что это ошибка. Тогда он в лучших советских традициях вынимает "книжечку" и говорит по-немецки: "Полиция". И вот я в автомобиле, а через пять минут мы в полиции. Человек, которого я принял за Квачевского, оказался шпиком, а так как напротив семинарии находится американское посольство (грандиозное здание, не уступающее кардинальскому дворцу), то шпик меня принял за террориста или за руководителя террористической организации, который подает сигналы своим подручным. Через 15 минут все разъяснилось. Однако и этих 15 минут было достаточно, чтобы убедиться в очень малом отличии австрийской полиции от советской. Те же полицейские чугунные лица, та же готовность "тащить и не пущать" и даже запах в коридорах такой же. И я понял, что полисмен здесь свое дело туго знает. Ну что ж, это неплохо. Ведь их деятельность строго ограничена законами. Кстати сказать, выяснилось, что за пять минут до того, как меня задержали, сюда приходил Квачевский — справляться, где здесь находится семинария.

Вернувшись, я застал Квачевского, которому преподаватели рассказывали, как найти мою комнату. Он у меня пробыл до 2 часов ночи. Два лагерника пили крепкий чай, разрешали мировые пробле-



мы, но контакта не получилось. Эта дружеская беседа оказалась последней.



А на другой день на вокзал — и в Мюнхен. Я в Баварии. Во время последней войны тогдашний генерал иезуитского ордена, поляк граф Ледницкий составил меморандум, о котором тогда трубила вся мировая пресса, о послевоенном устройстве Европы. Согласно этому плану (поражение Германии было для авторов меморандума уже свершившимся фактом), Бавария и Австрия должны были быть соединены в единое государство под знаменем строгого католицизма. Я невольно вспомнил об этом документе, попав в Мюнхен.

Действительно, Бавария имеет много общего с Австрией. Гораздо больше, чем с остальной Германией. Мюнхен — это та же Вена, но в миниатюре. Здесь нет остатков мировой столицы, разномастной, интернациональной толпы. Но веселость, приветливость, безалаберность, некоторое (хотя и не такое, как в Вене) легкомыслие — те же. Во всяком случае, между Мюнхеном, веселым и оживленным, и Веной гораздо больше сходства, чем у Мюнхена с мрачным, тяжеловесным и злобным Франкфуртом, озабоченным, хлопотливым Штутгартom, чинным, спокойным Ганновером, дымным, мрачным Кельном.

Как-то странно, что Бавария и Австрия — разные государства. Я совершенно убежден в том, что в будущем демократическом мире будет положен ко-

нец искусственному разделению двух германских народов. И демократический, христианский аншлюс — будет основой другого великого аншлюса — объединения европейских народов в одну семью. С детства я сторонник пан-Европы. Единой, демократической, христианско-социалистической Европы.

На вокзале в Мюнхене меня встретила моя крестница, вся та же Юлия Вишневская, и повезла меня через весь Мюнхен в помещение Радиостанции Liberty, к Englische Garten. И началось мое знакомство с радиостанцией. Знакомство, которое длилось много лет, проходило самые различные фазы — от медового месяца до зрелых брачных отношений, а потом, после многочисленных размолвок, окончилось так, как часто оканчиваются браки, заключенные не по любви, а по расчету: разводом.

Итак, я в Englische Garten — здание в современном стиле. Обширный вестибюль. Все, как в советской радиостанции, в Москве. Работники? Ноев ковчег! Самое богатое воображение не могло бы себе представить такое разнообразие стилей. Остатки первой эмиграции. Старые бары и барыньки, помещанные на старом Питере, на Николае Втором, и греющиеся дворцами и военными парадами лейб-гвардии Его Величества полков. И наряду с этим, вторая эмиграция. Люди деловые, хлопотливые — много пережившие, довольно беззаботные в области теории, выбитые из колеи и большей частью ни в какую колею так и не вошедшие.

Наконец, третья эмиграция: самые обыкновен-

ные советские чиновники, сменившие партбилеты на крестики.

В национальном отношении: радиостанция Liberty в одном помещении с радиостанцией "Свободная Европа". И кого только здесь нет: в одном коридоре встречаются яростные украинофилы, которые бредят желто-блакитным знаменем, обожают Петлюру и Бендеру, армяне-дашнаки — и тут же ярые русские патриоты — монархисты, уста которых порываются петь: "Боже, царя храни". И наряду с этим в лице третьей эмиграции много столь не любимых монархистами евреев.

Евреи — "ответственные товарищи" с пузатыми портфелями, евреи — яростные сионисты, только что приехавшие из Израиля, евреи — карьеристы, жадные до денег, и евреи — хорошие, чистые мальчики, даже не знающие цвета денег, — мечтатели и энтузиасты.

В религиозном отношении: православные христиане — глубоко верующие, "фанатики", как называют нас в СССР. Христиане — номинальные, для которых крестики — замена партбилета. Евреи — ортодоксы. Евреи — яростные атеисты.

Психологические типы: наряду с тяжеловесными бюрократами, приткие, ловкие, легкие на подъем журналисты, актеры и актрисы, искушенные в закулисных интригах, бары и барчатки, сохранившиеся от первой эмиграции.

И все эти люди вместе, все время сталкиваются друг с другом, всюду и везде, в кабинетах, в столовой, на заседаниях, на ежедневной утренней встрече.

И над всем этим — американцы. Энергичные, деловые, часто высокомерные, иногда ко всему безразличные, иной раз инертные, иной раз любезные и дружелюбные.

Хорошо это или плохо? Думаю, что хорошо. Я всегда был сторонником плюрализма. И в духе плюрализма надо воспитывать русский народ, который, к сожалению, никогда его не знал (я не говорю о дореволюционной интеллигенции — интеллигенции серебряного века, которая всегда была плюралистичной). Но для того, чтобы не получился хаос, чтобы было единство во множестве, нужна твердая рука, направляющая, сдерживающая антагонизмы и в то же время не стирающая своеобразия личности. Такое руководство осуществляется американцами, но, как всегда и во всем, бывают и срывы, бывают и неудачи.

Во всяком случае, несомненно одно: коллектив радиостанции является своеобразным лабораторным опытом того, как могут ужиться и совместно работать люди разных наций, различных политических и религиозных убеждений. Несмотря на разногласия, на неудачи — работники Liberty все-таки делают свое дело, свое благородное дело: дают советскому радиослушателю, одураченному и оглушенному советской белибердой, здоровую и разнообразную пищу. Пожелаем им в этом успеха. А что касается недостатков, то, как говорила (по словам А.И.Герцена) одна барыня: "Лучше плохая погода, чем совсем никакой". В Советском Союзе и нет никакой погоды. А монотонное, бессмысленное бор-

мотание одних и тех же магических формул, в кро-  
мешной тьме, изредка прерываемое барабанным  
боем. И вопросы смельчаков о внешнем мире, как в  
ночном кабаре у Ахматовой: "Что там (во внешнем  
мире?) изморозь иль гроза?"



Я в это время был в моде. Только что из Моск-  
вы. Почетный гость. Поэтому — в лучший отель Ше-  
ратон. Великолепный номер. И в ближайший четверг  
— доклад. Собрались все работники радиостанции. Я  
говорил о молодежи, о назревающем идеологиче-  
ском кризисе. Когда я привел в пример какого-то  
труса и назвал еврейскую фамилию, я вдруг заметил  
злорадные улыбки у части зала, удовлетворенный  
шепот. Тогда я тут же привел несколько примеров  
героических еврейских юношей, в том числе моего  
ученика Владимира Фурмана, расстрелянных в под-  
валах Лубянки. Мне это не стоило никакого труда,  
все было правдой; но я заметил, что при этом удо-  
влетворенные улыбки сошли с некоторых уст...

А через несколько дней интимный разговор с  
начальством в кафе. Глава русского отдела амери-  
канец Рональд Френк. Вся радиостанция называет  
его уменьшительным именем Рояни. Высокий. Ши-  
рокоплечий. Крепкий. Приятно на него смотреть. И  
прямодушный. Открытый. Другой американец —  
Лодезен. Джон. Этот, видно, похитрее. Себе на уме.  
Бывший атташе в посольстве США в Москве. В чем-  
то попался. Его объявили *persona non grata*. Сейчас  
на радиостанции. Хороший семьянин. Очарователь-

ная жена. Дети. Договорились: еженедельная передача. Беседы с русской молодежью. Мой редактор: Виктор Иванович Федосеев. На его имя я должен посылать наговоренные кассеты. Подписали договор. Все дела с радиостанцией сделаны. Но я хочу остаться в Мюнхене. Поэтому оставил шикарный номер в Шератоне. Переехал в скромную квартирку моей крестницы Юлии Вишневской. Меня интересовала церковная жизнь эмиграции.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

### ЕДИНОЕ НА ПОТРЕБУ

Когда-то Карл Радек любил говорить на тему о споротых погонах. По его словам, место, где были погоны, никогда не заживает. Оно всегда болит и ноет. Это можно сказать и о неудачниках.

Жизненные неудачи оставляют тяжелый след. И след этот остается навсегда. То место, где расцветали надежды, никогда не заживает. Оно всегда болит и ноет.

Это знаю я. Человек, испытавший в жизни множество неудач. Главнейшая из них — невозможность служить Церкви в священном сане. Между тем, мысль о священстве владела мной с самых ранних лет, с тех пор, как я себя помню. С шести-семи лет. До сорока двух лет, когда я по возвращении из лагеря сделал последнюю попытку в этом роде, обратившись с просьбой о рукоположении в священник к Митрополиту Николаю. И вновь, как и ранее, эта просьба была отклонена. И хотя я потом нашел себя в ином — в литературе — ”место, где расцветали надежды, всегда болит и ноет”.

Когда я ехал на Запад, меня, конечно, очень

интересовала церковь на Западе, и, конечно, прежде всего, православная церковь. Уже в самые первые дни пребывания в Швейцарии я отправился в православную церковь в Цюрихе. Она находится на углу двух улиц (Handelbachstrasse и Sonnegstrasse). В подвале огромного шестизэтажного дома. Церковь, крохотная, которую устроили русские эмигранты в 30-х годах. Самодельный иконостас. Иконы домашние, сразу видно, пожертвованные различными людьми из своих молитвенных углов. Старенький священник, который служит усердно, благоговейно, без всяких оглядок на то, какое его служба производит впечатление со стороны. На клиросе в первое воскресенье, проведенное мною в этом храме, одинокий женский голос, — не видя лица, я решил, — какая-нибудь монахиня. Так благоговейно и старательно заменяет хор. Разительный контраст с полными, откормленными, озабоченными наживой московскими певчими, выводящими претенциозные рулады. И деньги на храм собирает интеллигентная пожилая дама. Она же стоит у свечного ящика.

Когда после литургии ко мне подошла другая дама, спросила, как мне понравилась служба, я ответил: "Очень трогательно поет монахиня". При этом прихожане заулыбались. Воображаемая "монахиня" оказалась сама эта дама: Валерия Флориановна Даувальдер, — бессменная певчая и псаломщик, на которой держится вся церковь.

"Король бестактности", так меня исстари называли, остался верен себе.





При крестном ходе в православной церкви чередование клира следующее: сначала идут певчие, потом причетники, затем следуют дьяконы, священники, и замыкает шествие архиерей. Такой же порядок мне хочется принять при этом скромном отчете о моих впечатлениях церковной жизни в Западной Европе. Поэтому начнем с Валерии Флориановны Даувальдер. Она родилась в Енакиеве, на Донбассе. Урожденная Денерво.

В старших классах енакиевской десятилетки преподавал рисование старый художник Валерий Александрович Серов, тезка умершего в 1911 году Серова. Он предложил родителям Вали давать ей частные уроки. Это было в 1932 году. А в 34-ом году, после 20-ти дней заключения и чудом избежав расстрела, ее отец Флориан Флорентинович Денерво с женой и дочерью выслан за границу.

За счет Красного Креста (на дальний путь семье выдали билет до Варшавы в 11 долларов) немного пожили в Варшаве, немного в Берлине, добрались затем до Женевы, но оставались недолго; Флориану Флорентиновичу предложили место в Фрибурге, в университетском городке, где все еще царил средневековье.

Валю поместили в институт при монастыре Урсулинок — конец 34-го года ушел на изучение французского языка, а в 35-ом, к концу учебного года, сдала выпускные экзамены. Она становится художницей. Постепенно определяется характер ее твор-

чества: иллюстрации и стихи. Еще шестилетней Валя пишет свои первые стихотворения; толстую тетрадь оставляет в Енакиеве товаркам-десятиклассницам при прощании. Первоначально стихотворения, написанные во Фрибурге, имеют характер дневника: тоска по родине, первая любовь. И вечная любовь Вали: лес. Пройдут годы и появится том сказок-поэм с многочисленными иллюстрациями — песнь о лесе, о русской природе. Лесу посвящены отдельные сказки, выпущенные на трех языках: по-французски, по-немецки, и на родном языке, по-русски.

В иллюстрациях нечто самобытное, новая техника, новые насыщенные светом краски. Эти краски случайно находит Валя в химической лаборатории университета. Между тем, это годы выставок в Лозанне, Женеве, Берне, Цюрихе, Милане; по радио часто передают написанные Валерией Флориановной романсы; лозанским издательством "Novos" выпущена серия ее сказок.

Я встречал несколько раз Новый Год поблизости, в доме ее дочери. И у нее в доме всегда русский дух, русское добродушие, русская веселость, русская непринужденность, которая ни на минуту не переходит в вульгарность, так свойственную советским людям и представителям третьей советской эмиграции.

И рядом с Валерией Флориановной еще ряд церковных работников, так или иначе связанных с "русской Швейцарией".

Прежде всего — дама, о которой я уже упоминал: стоящая за свечным ящиком и собирающая на храм деньги. Елена Сергеевна Ламбер. Чисто русская.

Она родилась 28 декабря 1901 года в Ташкенте в семье военного инженера. Пятилетним ребенком с семьей отца переезжает сначала в Сибирь, а потом (в 1914 году) в Петербург. В 1918 году семья переезжает в Одессу, и здесь судьба сталкивает ее с молодым инженером, отец и дед которого были выходцами из Швейцарии.

Он окончил Технологический институт в Петербурге. Затем работал в Одессе. Затем, во время Второй мировой войны, супруги переезжают в Бухарест. А потом инженер репатрируется в землю своих предков, в Цюрих.

Овдовев, Елена Сергеевна становится главным хозяйственником церкви. И всегда рядом с ней еще один церковный работник Зиновий Яковлевич Перре, осуществляющий всю финансовую часть прихода. Классический тип русского швейцарца, родившегося в России, от русской матери и швейцарца отца, преподавателя французского языка. Елена Сергеевна умерла в 1981 году.

И остальные церковные работники и прихожане. Часто можно было видеть в это время в церкви молодую женщину с тремя детьми, а иногда (впрочем, изредка) приходил и становился рядом с ней высокий мужчина с хмурым лицом и с рыжей бородой — это А.И.Солженицын со своей женой Натальей.

.....

В этом приходе старенький, но очень бодрый священник — протоиерей отец Александр Каргон. Жизнь этого человека — захватывающая повесть, — и вся Россия XX века в ней. Его биография и он сам заслуживают самого пристального внимания. Родился 12 июля (в Петров день) 1897 года в Петербурге, в семье морского офицера. Он потерял мать в детстве. Его воспитатель — отец, суровый, требовательный человек. Он любил сына, заботился о нем, но воспитал его в духе военной дисциплины. Вскоре Каргон-отец получает важный пост в Севастополе, начальника учетного стола (по теперешнему отдела кадров) штаба Черноморского флота. До этого он был на службе во флоте Балтийском. Александр Каргон соответственно становится учеником севастопольской гимназии.

В 1914 году, окончив гимназию, он собирается поступить во вновь открытый Новороссийский университет, на филологический факультет. Но грянула война, и сын морского офицера, хотя ему и нет 18, рвется на фронт. Для этого ему пришлось пойти на некоторый обман: скрыть свои молодые годы. И вот он доброволец, а вскоре и подпоручик на Северо-Западном фронте. Он проделал весь путь русской победоносной армии. Участвовал в Брусиловском прорыве, воевал в Буковине, участвовал в боях под Черновицами. Революция 1917 года его застала в Карпатах, на венгерской территории.

Храбрый офицер. И был награжден рядом орденов. Он никогда не был ни "бурбоном", ни крайним реакционером. Он был гуманным интеллигент-

ным начальником. Но его идеологическое "credo" можно сформулировать лермонтовским чеканным афоризмом: "Слуга царю, отец солдатам". Как у многих людей того времени, царь и Россия для него отождествлялись. Соответственно, в 1918 году он принимает участие в белом движении. И здесь он остается таким же храбрым и исполнительным офицером. Он все время на самых опасных участках фронта. В самый разгар Гражданской войны он женится на дочери такого же, как он, боевого офицера Марье Федоровне, от которой у него дочь, — и опять на фронт.

Он окончил Гражданскую войну в чине штабс-капитана. Эвакуируется вместе с отцом в составе русского флота в Тунис. Здесь его отец до 1924 года был в качестве представителя союзного с Францией флота, а после признания Францией советского правительства в 1924 году переезжает в Париж. А между тем судьба молодого Каргона в это время складывается иначе, чем судьба его отца. Положение его такое же, как положение тысяч белых эмигрантов — бывших офицеров. Выброшенные из привычной среды, ставшие людьми без специальности, они должны все строить заново.

Первоначально Александр Каргон едет в Югославию. Там ему приходится стать простым рабочим. Трудолюбивый и умелый, бывший офицер осваивает успешно новое для него дело. Затем он переезжает во Францию. Работает в шелкопрядильной промышленности. Тут многое его поражает. В старой России было понятие о Франции, как о стране

равенства, братства и социальной справедливости.

И вот, молодой офицер столкнулся здесь с такой беспощадной эксплуатацией рабочих, какой никогда не было в царской России. В шелкопрядильной промышленности — работа очень вредная: пыль от искусственного шелка ослепляет рабочего. Проработав здесь в течение нескольких лет, рабочий становится полуслепым. Однако в 20-е годы не предпринималось никаких мер, чтоб предохранить зрение рабочего. Более того, пенсии для рабочих практически в то время не существовало, и рабочий, даже потерявший на три четверти зрение, должен был продолжать работу. Ранним утром пожилые рабочие в черных очках под руку с женами, которые играли роль поводырей, шли в поликлинику, где им закапывали в глаза по предписанию врача лекарства, а затем также под руку со своими женами, — к воротам текстильной фабрики. Лишь в 1928 году были приняты меры, предохраняющие рабочего от потери зрения, и была несколько увеличена заработная плата.

Александр Каргон — всегда был верующим человеком. В это время, под влиянием всего пережитого, его религиозность усилилась: он становится глубоко церковным человеком. И ему кажется, что освобождение от социальных трудностей на путях евангельского обновления жизни. И вот, недавний белый офицер вступает в христианский профсоюз и становится там активным работником. Его новые товарищи, французские рабочие, полюбили молодого, справедливого, энергичного человека. Вскоре он

становится профессиональным синдикалистом, работником христианских профсоюзов. Он является председателем русской секции христианского синдиката, ибо многие русские эмигранты становятся в это время кадровыми пролетариями. Их положение очень трудное.

Александр Каргон оканчивает специальное учебное заведение, которое готовит профсоюзных работников. Но он верен традициям своей ранней молодости и, конечно, является почитателем старой России и монархистом. Однако, как человек широкий и объективно оценивающий обстановку, он все же признает, что положение рабочих во Франции резко переменялось к лучшему в 1936 году, — с приходом к власти социалистов, правительства Леона Блюма.

По существу, во Франции произошла революция. Рабочие получили все права. Были установлены очень значительные пенсии. Здоровье рабочего было охранено. Его заработок значительно поднялся.

Но война все перевернула вверх дном. В это время господин Каргон со своей семьей переезжает в нейтральную Швейцарию. Здесь для него новое поле деятельности. Появление второй эмиграции. Он в это время сотрудничает с Толстовским фондом, с известным адвокатом Обером, получившим мировую известность своей защитой эмигранта Конради, убийцы Воровского, добившимся его оправдания в 1923 году. Сейчас он основывает организацию помощи несчастным перемещенным ли-



*Отец Александр Каргон в день своего восьмидесятилетия  
10.7.1977*

*Левитин-Краснов произносит приветственную речь.*





цам, оказавшимся между молотом и наковальней, между беспощадным и жестоким режимом и его коварными союзниками с берегов Темзы, которые выдают несчастных людей на расправу кровожадным кагебистам.

Между тем в это время православная церковь переживает трудные времена — оскудение священства. Жатвы много: появляется новая эмиграция, которая так нуждается в духовном утешении, которая жаждет живой воды, — а пастырство оскудает. Людей нет. В 1957 году по настоянию женевского Владыки Антония господин Каргон на Пасху принимает сан диакона, а затем священника. Он становится отцом Александром и сразу получает назначение — в Цюрих, в ту небольшую церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, где он служит до сей поры.

У отца Александра обширная паства. Прежде всего, наряду с окормлением цюрихского прихода, он обслуживал русских эмигрантов в Эльзасе. Каждый месяц он должен был совершать туда путешествие. Он должен также обслуживать почти всю немецкую Швейцарию и систематически служит (наряду с Цюрихом) также в Базеле.

Наконец, в это время появляется еще новая эмиграция — дальневосточная. Русские эмигранты, в свое время акклиматизировавшиеся в Китае, должны были снова бежать от власти Мао Цзедуна. Пожилым людям, с подорванным здоровьем, с подорванными нервами, которые более 20 лет жили в Маньчжурии, в Шанхае, нашли там вторую родину,

приходится начинать все сначала. Строить жизнь заново. В Швейцарии они нашли приют в старческих домах, которые разбросаны по всей стране, в горных местностях, в отдаленных кантонах.

Их духовное обслуживание ложится на плечи отца Александра: он ездит по старческим домам, организует там домовые церкви, исповедует, причащает, неустанно проповедует, служит.

В 1974 году, поселившись в Люцерне, где нет ни одной православной церкви, — тогда там не было и ни одного русского, — я сразу попал под духовное руководство отца Александра. Я сразу почувствовал к нему глубокую симпатию.

Отцу Александру сейчас идет 90-ый год, но и на склоне лет у него множество испытаний. В 1977 году, в первых числах января, умирает от рака, после продолжительных многолетних страданий, его жена, неизменный верный друг, рука об руку с которой он прошел весь жизненный путь.

А несколько лет спустя — новый неожиданный удар. Отец Александр теряет внука Михаила. Молодой человек поехал на автомобиле в каникулы на Ближний Восток. И здесь, на турецко-сирийской границе, — несчастье: под его автомобиль попала арабская женщина. Его задерживают. А потом отпускают, так как следствие установило, что он давал сигналы, но несчастная женщина не обратила на них внимания. На беду молодой человек задержался в этой местности для того, чтобы отремонтировать автомобиль. И родственники погибшей женщины (в порядке кровной мести) его зверски убили.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### НА ЦЕРКОВНЫХ ПРОСТОРАХ

В организме клеточка всегда связана с центром. От него получает она жизненную силу. Мистическая связь церковной общины со всей Вселенской Церковью в православии, как и в католичестве, осуществляется через Епископа. Епископ поэтому является как бы мистическим центром, благодаря которому сохраняется единство церкви. Это дало повод апостольскому мужу, святителю Игнатию Богоносцу — Архиепископу Антиохийскому бросить во втором веке крылатую фразу: "Кто вне Епископа, тот вне Церкви".

И вот, через месяц моего пребывания в Швейцарии, в ноябре 1974 года, я еду к местному Епископу в Женеву, к Высокосвященному Антонию, Архиепископу Женевскому и Западноевропейскому. И еду к нему в обществе Глеба Александровича Рара, которого обычно называют в кругах европейской эмиграции — "Обер-прокурором". Этому прозвищу нельзя отказать в меткости. Он действительно рожден для этой должности, и на этом месте был бы не-

заменяем. Он не так властен и эгоцентричен как К.П. Победоносцев. Он более церковен, чем Саблер. Он более принципиален, чем Волжин, и, конечно, во всех отношениях выше последнего царского обер-прокурора распутинского ставленника Раева. Из всех обер-прокуроров XX века он, пожалуй, больше всего напоминает Александра Димитриевича Самарина. Человек солидный, устойчивый, монархист, но не крайний; консерватор, но без всяких экстравагантностей. Он представляет тип солидного государственного и церковного деятеля, одного из столпов старой русской эмиграции. Впоследствии мои отношения с ним претерпели сложную эволюцию, и порой переходили с моей стороны в довольно резкую полемику. В то же время я сохранил к нему уважение и симпатию, и всегда вспоминаю о нем с удовольствием, хотя больших антиподов, чем он и я — и по убеждениям и по характеру, и по темпераменту — невозможно себе представить.

Глеб Александрович Рар, как и его сводный брат Лев Александрович Рар, происходят из старинных московских буржуа. Его дед был один из заправил знаменитого в Москве страхового общества "Россия", штаб которого, вместе с отелем, принадлежавшем обществу, находился на Лубянской Площади. В виде курьеза можно отметить, что служебный кабинет дедушки Глеба Александровича находился в том самом помещении, где впоследствии была резиденция Дзержинского, Ягоды, Ежова, Берии, Шелепина и Андропова. Сохранилась и фотография дедушкиного кабинета, который, по свидетель-

ству людей, бывавших у Андропова, почти не изменился.

Глеб Александрович родился в Прибалтике в 1921-м году. Впоследствии перебрался на Запад и является одним из самых старых членов НТС.

Как и другие члены НТС, он попадает в конце войны в концентрационный лагерь, и там ему оставили на всю жизнь память: переломанную ногу; отчего Глеб Александрович сильно хромот.

По телефону мы сговорились с ним встретиться на станции Олтен. Познакомились мы с ним еще во время моего пребывания во Франкфурте. И вот мы едем в его автомобиле в Женеву, к Владыке. По дороге шла мирная и тихая беседа. Несмотря на свою порывистость, я невольно подчинялся спокойной светской манере Глеба Александровича. Я был в мирном настроении, когда автомобиль покатился по просторным красивым улицам Женевы, напомнившим мне родной Питер.

И вот, рядом с красивым храмом, отмеченным во всех путеводителях, как русская Церковь, сочетающая византийский стиль с западноевропейским, сразу напомнившая мне красивые петербургские церкви, особенно церковь Министерства Уделов у Чернышева Моста, здание которой сохранилось до сих пор.

Еще несколько минут, и мы в соседнем доме. Лифт. Хорошая, удобная квартира.

Мы стоим перед местным Святителем, главой западно-европейской Епархии русской православной зарубежной Церкви, Высокопреосвященным Антонием.

Архиереев я знаю с детства. Если бы я захотел сосчитать количество архиереев, с которыми я был знаком лично, с которыми я имел молитвенный контакт, на богослужениях которых я присутствовал, пришлось бы написать трехзначную цифру. Если же я бы захотел обозначить число архиереев, о которых мне, историку Церкви, приходилось слышать, читать и писать, то получилась бы уже не трехзначная, а четырехзначная цифра.

Увидя Владыку Антония, я сразу почувствовал в нем архиерея и сразу невольно принял тон "архиерейского придворного", или, как язвительно заметил один из моих приятелей — тон завсегдатая архиерейских передних.

Поклонившись поясным монашеским поклоном, подошел к Владыке под благословение. Владыка непринужденно и просто начал беседу. Говорили о русской Церкви, о Церкви зарубежной, о Церкви католической. Я тут же выяснил один актуальный для меня вопрос: "Владыко, я не принадлежу к Вашей ориентации, могу ли я причащаться в Ваших Храмах?" "Вы православный?" "Разумеется". "Тогда, пожалуйста".

На другое же воскресенье я причастился Святых Таин в храме города Цюриха. С детства причастие для меня необходимость, я не могу без него жить...

Владыка оставил нас обедать, и я ближе узнал характер Архиерея. По типу он очень напоминает героя "Соборян", повести Николая Семеновича Лескова, отца Савелия Туберозова. Тот же мягкий, не-

обидный, добродушный юмор. Тот же практический смысл, знание людей, умение с ними общаться, находить общий язык. Глубокая религиозность, но без всякой напыщенности и экзальтации; как любил говорить покойный обновленческий Митрополит А.И.Введенский: "Всякий человек создает вокруг себя Umwelt".

У Владыки Umwelt, действительно, соответствует его характеру. Сразу я познакомился с его экономкой, Ангелиной Николаевной; старушка лет за 70, — очень бодрая, быстрая, гостеприимная. Сибирячка. У ее родителей там было небольшое имение. Перенесла все мытарства Гражданской Войны, затем — Харбин. И новая эмиграция. В Швейцарию, где она бросила якорь в Женеве, в качестве домоправительницы архиерейских покоев. Сейчас в доме престарелых, но Владыку не забывает, переселяется к нему по большим праздникам, и помогает по хозяйству.

И Канцелярия Владыки — чудесный диакон. Он служит вместе с Владыкой за Архидиакона, и я, старый любитель церковного благолепия и сам бывший диакон, сразу оценил его по достоинству.

Вообще диаконы — это самая слабая сторона русской православной Церкви. Можно различить три типа диаконов. Диаконы-ревуны — почти всегда пьяницы, артисты, покоряющие молящихся изумительным басом, но коробящие своим совершенно нерелигиозным настроением. Другой тип — случайные диаконы, попавшие в эту должность по дороге к священству, которые смотрят на диаконское служение как на неприятную повинность.



Есть также третий тип — иеродиаконы, которые служат с благоговением, но совершенно не владеют ни голосом, ни теми манерами, которые определяют специфику протоиерейского служения.

Отец диакон из Женевы является идеальным диаконом — чудесный, баритонального тембра голос, высокая церковная культура, умение выделять интонации, малейшие оттенки при чтении Евангелия. Благоговейное служение. Таков он и в жизни — вежливость, деликатность. Он родом из Южной Сербии, кажется, далматинец. Женат на итальянке, принявшей православие. Хороший семьянин и настоящий интеллигент.

Он исполняет обязанности не только протоиерейского, но и секретаря Владыки, и всегда он один и тот же: вежливый, приветливый, серьезный, но без тени неискренности, и без всякой елейности.

Недалеко от Женевы, в соседней Лозанне, наиболее был популярен из священнослужителей швейцарской Епархии протоиерей Отец Игорь Троянов, такой же, как Владыка, простой, непривередливый, высоко культурный пастырь. Всеобщий духовник, через два года умерший, но тогда еще действовавший, служивший и неустанно проповедовавший.

От него я узнал биографию Владыки. Биография своеобразная и резко отличающаяся от привычных биографий владык, подвигающихся в Московской Патриархии.

Архиепископ Женевский Антоний, в миру Андрей Георгиевич Борташевич, родился в 1910 году в Петербурге, в семье ученого офицера — полковника, крупного военного инженера.



*Преосвященный Антоний во время богослужения  
в Покровской церкви.  
Цюрих, 1980 г.*



В 1914 году с начала войны его отец на фронте в театре военных действий, а жена полковника с двумя детьми переезжает в Киев. Тяжело пришлось родителям Преосвященного — его отец выдержал на своих плечах две войны — первую мировую и гражданскую, а затем в 1921 году вместе с остатками Врангелевской армии он был эвакуирован морем в Европу, и потеряв из вида семью, поселился в Чехии. А мать Преосвященного, оставшись с двумя сыновьями, пережила в Киеве всю гражданскую войну, все меняющиеся каждый месяц режимы, всю беспросветную нужду, террор чекистов, петлюровцев, всевозможных украинских националистов.

В 1924 году, в период относительного либерализма в эпоху НЭП-а, она отыскиала следы мужа и сумела выехать к нему в Югославию. Характерно, что впоследствии она не жалела о выпавших на ее долю превратностях судьбы и говорила: "Ну, было бы и нормальное время, я была бы сейчас старой генеральшей, разве знала бы я жизнь, разве чувствовала бы в такой мере Руку Божию!".

Это чувство она, видимо, передала и своим детям. Между тем в Югославии жизнь семьи офицера-эмигранта была нерадостной, полной трудностей и забот. Самое тяжелое — оба сына, Лев и Андрей заболевают туберкулезом. У обоих юношей глубокая религиозность, унаследованная от родителей, которая еще усугубляется болезнью и пережитыми с раннего детства тяжелыми обстоятельствами.

После окончания гимназии двое братьев поступают на богословский факультет Белградского уни-

верситета, который оканчивают в конце 30-х годов. И снова треволнения — мировая война. Белград под немецкой оккупацией.

В 1941 году Митрополит Анастасий постригает двух братьев в один день в монашество. Офицерские сыновья, братья Борташевичи, становятся иноками Леонтием и Антонием.

Иеромонах Леонтий скоро переводится в Западную Европу, в Швейцарию, становится епископом в Женеве. Управляет там той самой Епархией, во главе которой в настоящее время стоит его брат. Я его, конечно, уже не застал в живых, но по отзывам верующих Епископ Леонтий был исключительно деятельным, заботливым архипастырем, любимым эмигрантами. А путь его брата складывается несколько иначе. В сане иеромонаха он становится законоучителем в кадетском корпусе в Белграде, в эмигрантском учебном заведении, где учатся, в основном, такие же, как он, дети бывших белых офицеров.

Отец Антоний, видимо, оказался на редкость хорошим педагогом, если учесть, что и сейчас, через 40 лет, его бывшие ученики его любят и помнят. Однажды я застал у него его бывшего ученика, редактора газеты, издающейся в Австралии, который приехал специально в Женеву, чтобы повидаться со своим бывшим наставником.

А в Югославии тоже было несладко, война принесла много трудностей, иеромонаху пришлось многое пережить. Побывал и на территории своей родины, в Смоленске. А после войны очутился в раздирае-

мой гражданской войной Сербии, в эпоху титовского террора.

Он собирался вернуться на родину, когда ссора двух диктаторов смешала все карты. После разрыва Тито со Сталиным происходит либерализация югославского режима. Отец Антоний направляется в Западную Европу, в Швейцарию, где архиерействует его брат.

И вот он получает назначение во Францию, в город Лион, священником. Еще один поворот судьбы, и в 1957-м году — новое горе: умирает скоропостижно, еще в сравнительно молодом возрасте, брат Владыки Епископ Леонтий. И в этом же году рукоположен на его место во Епископа Женевского, Викария западно-европейской Епархии, отец Антоний. И с тех пор, вот уже 29 лет, Владыка занимает женевскую кафедру.

Первое время Владыке пришлось проходить служение под руководством святителя Иоанна Максимовича, который после перехода в ведение патриархии и возвращения в СССР митрополита Серафима Лукьянова встал во главе западно-европейской епархии зарубежной православной церкви.

Это была колоритная личность, единственный из зарубежных епископов, которого многие православные эмигранты считают святым, и на могиле которого в Сан-Франциско, в крипте Скорбященского Собора, как утверждают многие, совершаются чудеса.

Я слышал о епископе Иоанне еще 20 лет назад от митрополита Нестора. Владыка хорошо знал епи-

скопа по Маньчжурии, по Дальнему Востоку. Он говорил о нем, как о мистике-аскете, который целыми неделями питался экстравагантной пищей (ладаном), не спал напролет целые ночи, проводя их в молитве, и падал в изнеможении в храме во время богослужения.

А после мировой войны, этот, по словам митрополита Нестора, юродивый епископ оказался практичнейшим иерархом, который спас от голодной смерти и от выдачи советскому правительству большое количество людей. Его энергия и настойчивость, когда шла речь об интересах его паствы, были поразительны; он мог прийти к министру в Париже, усесться на ступенях лестницы в рясе, панагии и клобуке, и так сидеть — час, два, три, четыре — пока не увидит министра и на прекрасном французском языке не изложит ему своего ходатайства. И почти всегда достигал цели.

Под его руководством в течение нескольких лет служил Владыка, и думается, уроки епископа Иоанна не прошли бесследно для еще молодого тогда архиерея. Простота, отсутствие византийства, общедоступность — всему этому можно было научиться у епископа аскета.

А затем епископа Иоанна переводят в Сан-Франциско. Это было вполне разумным шагом, если учесть, что Сан-Франциско стал к этому времени центром бывшей дальневосточной эмиграции, перекочевавшей в Америку, а среди дальневосточников Владыка был широко известным человеком.

И Владыка Антоний становится самостоятель-

ным архиереем, управляющим средневропейской епархией, то место, которое он занимает до сих пор.

Я говорил с Владыкой откровенно. Я спросил: "Знаете ли Вы, Владыко, что я социалист?" "Знаю. Но мы надеемся, что, пожив здесь, Вы измените свои убеждения". "Вряд ли изменю". Так и вышло, ни в чем свои убеждения не изменил.

Далее мы с Владыкой не сошлись в наших взглядах на католицизм. Ученик Владимира Соловьева, я всю жизнь одержим идеей соединения церквей, и католическая церковь для меня не менее своя, чем православная.

Впоследствии, через несколько лет, после того, как я чудом спасся после автомобильной катастрофы, я говорил Владыке: "Когда я был на пороге смерти, я был счастлив, что отец Александр был так добр, что приехал меня причастить. Но если бы этого не было, я бы причастился у любого католического священника". "А я бы все-таки не причастился". "Позвольте, Владыко, неужели из-за того, что 900 лет назад папы поссорились с византийскими императорами, я должен умирать без общения с Христом, без причащения Святых Таин?"

И все-таки, несмотря на эти разногласия, я очень люблю и уважаю Владыку, и хочу думать — он меня также любит.

Как-то говорил Владыка недавно о том, что он не захотел принять одного из архиереев, принадлежащих к патриархии". О чем нам с ним говорить, о погоде?" — сказал он.

"Позвольте, Владыко, меня же Вы принимаете



и со мной беседуете, хотя я также не во всем едино-  
мышлен с Вами.

”Но Вы искренни, это уже хорошо”, — получил я в ответ. Это правда, я искренен, и он искренен, и это меня располагает к Православной Зарубежной церкви, возглавляемой архиерейским синодом в Джорджданвиле. Ибо хуже всего двусмысленность, теплохладность.

Сыт этим еще в Москве: и в среде интеллигентов и в среде церковников.



Уже во время своего первого пребывания в Мюнхене я также вошел в соприкосновение с тамошними церковными кругами. Церковным центром в Мюнхене является большое здание на Salvator Platz. Любопытная история этого места, — когда-то, в очень отдаленные времена, в XIV веке, одна из баварских королев была гречанкой и, конечно, православной.

С ней в Мюнхен приехало множество греков. И здесь находилось греческое кладбище. (На католическом кладбище ”схизматиков” хоронить было нельзя). Здесь же был выстроен большой греческий храм во имя Спасителя. (Отсюда название этого места — Salvator — по-латыни Спаситель). Этот храм, который высится на городской площади, сохранился почти без всяких перестроек до сих пор. А рядом, в ультра-современном здании, где когда-то была библиотека, помещается русская православная церковь.

Входим сюда в воскресенье в 10 часов. Сейчас должна начаться литургия. Большой, открытый со всех сторон зал. Без колонн. Алтарь. Со всех сторон иконы. Под старину. По древним образцам. Но сразу видно, написанные недавно местными живописцами. Стилизация довольно примитивная.

В десять часов начинает собираться народ. В Мюнхене в настоящее время проживает несколько тысяч русских (не менее 10 — 15 тысяч)... Небольшой уездный городок в древнем немецком городе. Но храм посещают тысячи четыре. Интеллигенты. Пожилые дамы. Старики с военной выправкой. Молодежь: сосредоточенные, скромные, с хорошими манерами мальчики и девочки.

Обычно литургию по воскресеньям служит епископ. В 70-ые годы епископом был Владыка Павел (в миру Михаил Павлов). Мне сразу пришлось вступить с ним в общение. Однажды у меня в гостинице телефонный звонок. Чей-то мужской голос тенорового тембра:

”Это местный Епископ. Глеб Александрович Рар просил Вам передать, что он будет в Мюнхене послезавтра”. Несколько ошарашенный, я отвечаю: ”Спасибо, Владыко”.

Впоследствии я видел Владыку много раз и в церкви, во время богослужения, и у него на дому. Этот епископ совсем в другом роде, чем его женевский старший собрат. С первого же раза он мне напомнил хорошо мне известный с детства тип молодого простеца-монаха. Люблю я этих людей: бесцеремонные, простые, говорливые, веселые, подчас го-

рячие... религиозные, но без всякой аффектации.

Епископ Павел (ныне Архиепископ Сиднейский, Австралийский и Новозеландский, — тогда носил титул Епископа Штутгартского) — в миру Михаил Павлов — родился в 1927 году в России. Затем он со своей матерью (отца он, видимо, потерял еще в детстве) попадает в военную бурю. Он перебирается в Польшу. Затем в Германию. В конце войны он очутился в Париже.

Запомнился очень колоритный его рассказ, как в Париже с другим молодым парнишкой они жили на чердаке, причем им удалось достать где-то мешок шампиньонов. И ровно неделю они питались одними шампиньонами. Хлеба у них не было.

Как известно, шампиньоны — это очень тонкий деликатес, который употребляется гурманами как приправа к обеду. Насколько, однако, он оказался вкусным двум парням, изнывавшим от голода на парижском чердаке, сказать трудно.

Далее Михаил Павлов со своей матерью очутился в Монреале (Канада), и здесь он и его мама знакомятся с Владыкой Виталием, который принимает в них участие.

Михаил Павлов с юности имеет интерес к гуманитарным наукам. У него в кабинете вы увидите полное собрание сочинений великого русского историка Сергея Михайловича Соловьева и целый ряд других знаменитых историков.

Я помню, как я удивился, когда Владыка неожиданно прочел наизусть целую поэму одного из малоизвестных, хотя и талантливых советских поэтов.

Он окончил в Монреале филологический факультет. Однако, видимо, еще в детстве его привлекала монашеская жизнь, и уже в 1947 году, совсем молодым, он принимает монашество.

Владыка Виталий, его "Авва", строгий инок (когда-то он был настоятелем одного из прикарпатских монастырей) и отец Павел под его руководством постиг сложную науку "монашеского делания". Он хорошо служит и, видимо, любит монашеское, уставное богослужение. Он хороший администратор, знающий жизнь, понимающий психологию своей паствы, которая в своей большей части состоит из людей много испытавших, выброшенных из родной страны, терпевших и нужду и недоброжелательство, много скитавшихся, знающих, как "горек хлеб изгнания и как тяжело, по словам Данте, подниматься и спускаться по чужим лестницам".

Парню ли, питавшемуся шампиньонами на парижском чердаке, — этого не понять.

И другие представители православного духовенства в Мюнхене. Это, во-первых, отец Сергей Матфеев. Ревностный пастырь. Оценъ духовный, очень внимательный, очень добрый. И в то же время всем интересующийся, широко образованный. Он пришел вместе со своим сыном на мою первую лекцию. И имел терпение выслушать всю мою длинную речь. Отец Сергей вскоре скончался. Два года назад отошла к Богу и его матушка; чудесная, хлебосольная русская женщина.

Я лишен каких-либо национальных пристрастий, да и мне ли, изгою (наполовину еврею, наполо-

вину русскому, а в общем, не еврею, не русскому, — человеку неопределенной национальности) их иметь.

Но люблю я русских людей (старого, уже уходящего типа), открытых, прямых, хлебосольных, отзывчивых.

И такое же впечатление произвел на меня другой священник, отец Александр Нелин. У него я дважды исповедывался. Хорошее впечатление. У всех у них что-то от священников, которых я знал в детстве, от лесковского пастыря отца Савелия Туберозова.



Как известно, еще в 20-е годы церковная эмиграция раскололась на три течения. Самая влиятельная в эмиграции, самая фанатичная и самая искренняя часть православной церкви — так называемая зарубежная православная церковь во главе со Священным Синодом, находящемся ныне в Джорджанвиле (Соединенные Штаты Америки). Во всей Западной Европе (кроме Франции) именно она является господствующей, как и во многих штатах Америки и в Австралии. Она привлекает и вызывает сочувствие многих православных людей в России — от архаично настроенных интеллигентов до тысяч простых людей — представителей так называемой "Катакомбной Церкви".

Особенно популярной стала эта часть православной церкви в 60-ые, 70-ые и 80-ые годы; в 1964 году в Джорджанвиле состоялась канонизация Иоанна Кронштадтского, в 1975 году — одновременно с Русской Православной Церковью был канонизиро-

ван преподобный Герман Аляскинский. В 1978-ом году была канонизирована блаженная Ксения Петербургская. И, наконец, в 1981 году были канонизированы новомученики и свидетели веры, пострадавшие от советских властителей, начиная с царской семьи.

Вопрос об обоснованности канонизации всех этих лиц мы намерены рассмотреть впоследствии. А теперь можно указать на то, что эта канонизация углубила пропасть, отделяющую Зарубежную Церковь от официальной Русской Православной Патриаршей Церкви.

Зарубежная Церковь, во главе с Синодом в Джорджтауне, все больше начинает напоминать старообрядческую церковь ( в ее "белокриницком варианте"). И та и другая церкви сохранили догматы, таинства, иерархическое преемство, но застыли в обожествлении ушедших форм русской жизни: старообрядцы — русского строя XVII века, а сторонники зарубежной церкви — русского строя до 1917 года. Но Священное Писание гласит ясно и строго: "Не сотвори себе кумира: ни на небесе горе. ни на земли низу, ни в водах под землею". Ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем.

И в то же время и та и другая церкви имеют в своей среде много чудесных, искренних, горящих людей. Это всегда меня привлекало.

Поэтому в Москве я любил посещать Покровский храм Рогожского кладбища, исторический центр старообрядчества, а здесь я являюсь прихожанином Покровского храма в Цюрихе, принадлежа-

щего к Зарубежной Православной Церкви. И как всегда, жизнь создает парадоксы.

В 1980 году я совершил поездку в Америку. Со специальной целью — привлечь внимание общественности к арестованным отцу Димитрию Дудко, отцу Глебу Якунину и другим.

Страстную седмицу и Пасху я провел в Сан-Франциско, в доме церковного старосты кафедрального собора американской юрисдикции. И вот настала пора говеть. Но у кого исповедоваться? И тут я вспомнил одного молодого священника-зарубежника, отца Стефана Руденко. Позвонив к нему по телефону, я сказал, переходя по обыкновению на ты: "Слушай, отец, я хочу у тебя исповедоваться". И исповедовался и причастился, и провел все богослужения страстной седмицы в храме зарубежников. На недоуменный вопрос моего любезного хозяина я ответил: "Конечно, умом я полностью сочувствую американской автокефальной церкви, но сердцем я же не американец, а русский".

Между тем, как мне говорили, руководящий деятель Джорджанвиля Епископ Григорий (в миру граф Георгий Граббе) изволил про меня сказать: "Он, как был, так и остался обновленцем" (нельзя сказать, что он совершенно не прав), "ему нельзя давать причастие".

А мой шеф, обновленческий Митрополит Александр Введенский говорил следующее: "Вы, как были, так и остались представителем монашеской, тихоновской церкви".

Значит, так и остался ни в тех, ни в этих.

Митрополиту Введенскому я ответил: "Я, как был, так и остался в Христовой Вселенской Церкви. А счета иерархов меня мало интересуют". Это я бы ответил и Епископу Григорию.



В Париже я вступил в общение с другой частью эмигрантской Православной Церкви, с так называемой церковью Парижского экзархата, Константинопольской Юрисдикции.

И опять коллизия.

Разумеется, по своей идеологии я гораздо ближе к этой части Русской Церкви, чем к так называемой зарубежной Церкви. Тем более, что именно к этой юрисдикции принадлежали люди, вызывающие у меня глубочайшее уважение: отец Сергей Булгаков, Николай Алексеевич Бердяев и многие другие. И тем не менее, в личном общении я всегда был ближе к епископам и священникам зарубежной церкви.

Если у епископов зарубежной церкви я чувствовал доброту, теплоту, искренность (что-то от героев Лескова), то некоторые деятели парижской юрисдикции мне напоминали больше всего петербургских священников. Важных, солидных и холодных чиновников в рясах, в дорогих шубах и цилиндрах, с наперсными крестами на аннинских лентах. Вежливость, отчужденность и ледяной тон. Но, конечно, потом я встретил многих, которые заставили меня изменить это мнение.

Во-первых, замечательный отец Александр Оболенский и престарелый отец Александр Чекан, с



которым мы однажды разговорились, встретившись в церковном дворе на Rue Daru.

Он оказался питомцем Петербургской Духовной Академии, и мы нашли массу общих знакомых, начиная от его товарищей по Академии Митрополита Николая, Николая Федоровича Платонова, и других. Он их всех знал мальчишками, а я их знал уже весьма почтенными, седовласыми людьми. Но тем более было интересно проверять наши впечатления, и лишний раз я убедился в том, как, в сущности, мало меняются люди. "Каков в колыбельку, таков и в могилку".

Православную Церковь в Париже в то время возглавлял Архиепископ Георгий Тарасов. Человек многогранной и интересной судьбы. В прошлом офицер царской армии и один из первых русских летчиков. Он был рукоположен уже в двадцатых годах, проделал весь путь, тяжелый путь эмигрантского священника. Служил долгие годы, как кажется, в Бельгии. И уже в старости, овдовев, после смерти Митрополита Владимира, принял посох Архиепископа Парижского, главы одной из эмигрантских церквей.

Несколько позже я познакомился с одним из самых замечательных иерархов, каких имела Православная Церковь — с Приснопамятным Епископом Александром Семеновым-Тянь-Шанским.

Внук великого путешественника, Преосвященный являлся моим земляком. Земляком вдвойне. Он не только петербуржец, но и житель Васильевского Острова, где прошли все мое детство и юность.

И прихожанин, как и я, Андреевского Собора. И духовный сын хорошо мне знакомых священников: Отца Андрея Нумерова и печально впоследствии знаменитого отца Николая Платонова.

Мы беседовали с ним два часа; и все более находили новые точки соприкосновения: он учился в I. Реальном Училище, на углу 12-ой линии и Большого Проспекта, в помещении которого через четверть века я окончил 213-ую школу.

Мы встретились с Владыкой в 1978 году, а через полгода он умер.

Владыка много и интересно рассказывал о своей жизни, полной захватывающих приключений. Он оставил несколько книг, которые так и остались ненапечатанными. Особенно интересна книга об одном из его братьев: офицере, потом революционере — члене эсеровской партии, затем толстовце, а в конце жизни, перед революцией, православном подвижнике, зверски убитом в годы революции.

Владыка рассказывал о своей эмиграции, как нашел он приют в доме другого своего брата, в Бретани, на юге Франции, и как приехал туда однажды молодой архимандрит Иоанн Шаховской.

И под его влиянием для эмигранта — потомка великого русского путешественника, открывается новый путь: он принимает священство, а впоследствии и монашество.

Я сижу в его скромной квартирке в Париже, около церкви, и слушаю его чудесную неторопливую речь.

Он очень стар, — ему уже под девяносто. Пер-

вое впечатление — старец, дряхлый, седовласый, в нем едва теплится жизнь. Но через мгновение это впечатление исчезает. Лицо Владыки озаряется тихим светом.

После этой встречи между нами началась переписка. Его легкий молодой почерк вызывал у меня восхищение. Его стиль — стиль старого русского интеллигента, теперь безнадежно утерянный, доставлял огромное удовлетворение. Увы! Недолго длилась наша переписка. Последнее письмо в мае 1979 года, а через месяц его не стало. Царство небесное Владыке!

И сразу завязались контакты с другими церковными учреждениями. Это прежде всего Ymca Press. Здесь тогда был главной фигурой Никита Алексеевич Струве, который так же, как и теперь, властной рукой направлял работу издательства и журнала.

Аккуратный, подтянутый, вечно озабоченный, в то же время раздражительный и самолюбивый, он также очень напоминал старые петербургские типы. В частности, вероятно, был очень похож на своего знаменитого деда, как мне о нем рассказывали его старые питерские знакомые.

В этот раз он пригласил меня к себе. Я пришел, когда его еще не было дома, и я познакомился с его очаровательной супругой. Она оказалась дочерью старого парижского батюшки, отца Александра Ельчанинова, чью прекрасную книжку о его пастырском служении я читал в Москве.

Отец Александр, старый московский интел-

лектуал, принявший по глубокой вере священный сан в эмиграции, вскоре умерший на своем духовном посту, во время исповеди, является примером для современных священнослужителей.

Больших антиподов, чем покойный пастырь и его зять, представить себе невозможно. Теплота и горение — с одной стороны, и — почти крещенский холод, мертвенная сдержанность и язвительная раздражительность — с другой.

А еще он мне напомнил хорошего, аккуратного, усидчивого немецкого чиновника.

Этот тип мне хорошо знаком с детства. 20-е годы унаследовали этот тип от старого Петербурга. Этот же тип превалировал и в профессорской среде, и среди замшелых министерских, изъеденных геморроем служак.

Мы разговорились с Марьей Александровной об ее отце; причем она заметила своему сыну: "Вот видишь, каким был твой дед" — когда пришел Никита Алексеевич.

Все было очень мило. Я просил Никиту Алексеевича собрать то, что было напечатано из моих статей в Вестнике РХД". Потом он пошел меня провожать до метро. И вдруг неожиданная перемена. Он как-то замкнулся: ледяной тон. И молчание. Я пытался продолжать разговор в своей обычной светской манере. Увы, с его стороны односложные ответы.

И только потом я понял, в чем дело: я заставил моего любезного хозяина около часа рыться в старых журналах. А потом со свойственной мне рассеянностью забыл о приготовленном для меня пакете.

Что будешь делать, — когда-то мне, молодому аспиранту — говорили: "Еще не профессор, а уже такой рассеянный". Теперь можно сказать: "Несостоявшийся профессор, а рассеянности хватит на десяток профессоров".



С Никитой Алексеевичем мы впоследствии встречались много раз. Наиболее характерные две встречи.

В Монжероне, где я делал доклад в мае 1975 года, а он был моим переводчиком. А затем в 1976 году, когда Редакция "Ymca Press" решила выпустить мою книгу "Лихие годы". Решение было принято по настоянию Кирилла Александровича Ельчанинова, свояка Н.А.Струве, покойного Ивана Васильевича Морозова и профессора Физа. Никита Алексеевич был против издания этой книги. Он является ярым поклонником Солженицына, а я слышу идейным противником знаменитого писателя. Придя в редакцию и очень сухо со мной поздоровавшись, он сказал, бросив рукопись моей книги на стол: "Просмотрел, что это о Епископе Антонине Грановском говорится, что он великий человек. Какой он великий человек. Вот, Солженицын... (Взгляд в мою сторону).

Я: "Позвольте. Если Солженицын великий человек, то из этого не следует, что Епископ Антонин не великий человек".

Но от раздраженного человека, конечно, нельзя требовать, чтоб он помнил об истинах формальной логики. Как говорят, есть особая "дамская логика", а раздраженные люди, да еще писательские поклонники, всегда немного сродни дамам.

Кстати сказать, в этот момент Никита Алексеевич напомнил мне немного Епископа Антонина, который был также очень эмоциональным и импульсивным человеком. Совершенно другое впечатление производит его свояк: Кирилл Александрович Ельчанинов. Чудесный, приветливый, благовоспитанный.

В тот же приезд состоялось мое знакомство с Парижской Духовной Академией. Надо сказать, что Духовная Академия в Париже всегда была для меня окружена некоторым ореолом.

Еще бы! Булгаков, Карташев, целый ряд других светочей богословия. Разумеется, я очень хотел туда попасть. Посредником оказался молодой человек из старинной эмигрантской семьи: Владимир Владимирович Циолкович. Жена его — Галина Николаевна Митина — одна из первых моих знакомых дам в эмиграции. Он сын офицера царской армии; мать очень интеллигентная, приятная женщина, типичная русская интеллигентка.

Володя Циолкович уже, конечно, знает о России только по рассказам. Но по характеру, по типу он настоящий русский парень. Сметливый. Добродушный. Иной раз вспыльчивый. Так и просится,

чтоб на нем был мундир поручика (теперь уж капитана, а через несколько лет и подполковника) какого-либо артиллерийского или кирассирского полка Российской Императорской Армии. Он обладает чудесным голосом, как и трое его братьев.

И религиозность. Религиозность исконная, русская. Без всяких вывертов. Любит он монастыри, уставные богослужения, старцев. Это и привело его в Духовную Академию. Уж не знаю почему, но он почувствовал ко мне сразу симпатию (хотя более противоположные типы, чем я и Володя, трудно себе представить). Он-то и познакомил меня с ректором Академии. Володя был студентом последнего курса Академии и был инициатором того, чтоб я получил приглашение сделать там доклад о русской религиозной молодежи.

Ректор Академии, отец Алексей Князев также произвел на меня хорошее впечатление. Резковатый, прямой, добродушный протоиерей; он также оказался моим земляком, но не по Питеру, а по Баку, где я родился и где провел первые пять лет своей жизни.

У меня мало воспоминаний об этом периоде моей жизни, но все-таки кое-что вспомнил. Русский Собор, ныне снесенный, сияющий своими золотыми крестами, прикрепленными тяжелыми цепями к куполам (из-за сильных Бакинских ветров) в центре города. Знаменитый Бакинский бульвар. И церковь технологического училища. Церковь почти без икон, но с портретом основателя училища у свечного ящика.

Он настроен был по отношению ко мне благодушно. И, как мне говорили, на лекциях иногда цитирует мои книги, относящиеся к русской церкви.

Доклад состоялся и, как мне потом говорили, против этого доклада была часть профессуры, настаивавшая на контактах с московской Патриархией, и даже следили за тем, кто из студентов пойдет на мою лекцию. Это уже совсем "по-нашему", по-советски. И внушает смелые надежды. То ли будет, если в Париже появится КГБ.

Но отец Алексей здесь ни при чем. Его путь — путь типичного русского интеллигента. Родился в Баку в 1913 году. Эмигрировал, вероятно, с англичанами в 1919 году. В эмиграции окончил юридический факультет. Затем Богословский Институт. Остался при нем. Много лет профессорствовал. Стал ректором лет 35 назад. Хороший, рачительный хозяин. Видимо, любит без памяти свою Академию (Институт), где провел всю свою жизнь. Но совершенно лишен клерикальной узости: рассказывает выучка отца Сергия Булгакова, преосвященного Киприана (Керна) и других корифеев "парижского богословия".

В быту прост и, кажется, не чужд некоторой бурсацкой грубоватости (вроде покойного митрополита Антония Храповицкого).

Бурсаки с ним говорят просто, по-дружески, но чувствуется, что он не только внимательный, но и требовательный начальник. К "карловчанам" ("зарубежной православной церкви") настроен резко отрицательно.



Мы далеко не во всем с ним согласны, но (в общем скажу) это, пожалуй, один из самых достойных начальников духовно-учебных заведений, каких я видел (а видел я их в Москве и в Питере не менее десятка).

Ребята, примерно, такие же, что и в Москве. Простые, в меру хорошие, в меру озорные (молодая кровь играет). Наряду с глубоко религиозными, попавшими сюда по призванию, были и шальные ребята, попавшие сюда случайно (из третьей эмиграции). Один из них, недавний сержант из советской армии и недавний эмигрант, был на одной из моих лекций в Париже. И пробовал дурачиться. В антракте между нами произошел следующий диалог, непонятный для парижан:

— "Ты из армии?"

— Да.

— Солдатскую присягу от стариков получал?

— Получал.

— Мало. Прибавлю.

Для непосвященных поясню, — солдатской присягой в армейском быту называется самая настоящая классическая порка, которой подвергается "салага" (новобранец) от "стариков" — солдат, заканчивающих срок службы, — в казарме ремнем, на "губе" (гауптвахте) ложками или кружками, — ремней там нет, отбирают при аресте.

Мой вопрос, видно, был уместен. Всю остальную часть доклада он был тише воды, ниже травы. Приструнил солдатика.

Пробыл в Париже на этот раз немного: дней десять. Сделал три доклада.

Побывал и на Эйфелевой башне и на могиле Наполеона. Туда я усиленно стремился попасть.

Одна дама мне говорила: "Первый раз вижу социалиста с таким пристрастием к Наполеону".

Отец, когда я был мальчишкой, мне неустанно повторял: "Не держи ты так руку. Наполеон из тебя неважный. А пуговицы от этого на пальто рвутся".

Но я все-таки (хотя мне было уже 59 лет) пошел к могиле Наполеона. К своему изумлению, первое, что я увидел, была шикарная свадьба в Доме Инвалидов.

Я спросил у полисмена: "А где Наполеон?" Он, закрыв глаза и положив голову на правую руку, сказал: "Dormir".

Сколько правды в этой шутке. Спал Наполеон тогда непробудным сном, посреди мелких политиканов: Жискар д'Эстенов, Баров, Помпиду...

И лишь теперь дух Наполеона просыпается во Франции. Ведь Наполеон — это не только завоеватель, — это и великий законодатель и великий реформатор, это один из провозвестников единой Европы. Наполеон — это смелость, инициатива, творческая мысль. И кто знает, живи он сейчас, — не был ли бы он среди социалистов, не признал ли бы он своими преемниками товарищей Миттерана, Моруа, и всех тех, кто под знаменем французского социализма борются за обновление мира.



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### ЧЕРЕЗ ЛАМАНШ

И вот, опять в дорогу. Вагон. Книга. Все как в России. Комфортабельные вагоны 1-го класса. 2-ой класс так себе. Здесь много народа. Веселые французы. Поют, смеются, ругаются.

Вид из окон: мелькают леса, озера, каменные домишки, большие дома, луга, покрытые инеем. Хорошо так ехать, смотреть в окно, вспоминать...

”Многое вспомнишь родное, далекое,  
Слушая топог колес непрерывный,  
Глядя задумчиво в небо широкое”.

(Иван Сергеевич Тургенев)

Разговор с английским чиновником, — переводчик — некий полячок. Долгое ожидание. Переговариваются между собой чиновники. Потом мостки. Пароход. И Ламанш.

Издавна я люблю море, — и теперь мое сердце ликует: чайки, волны; прохаживаюсь по палубе и, наконец, Англия.

С волнением выхожу... Вот он, каменистый берег... здесь бывал Шекспир, тут слагал стихи Байрон, отсюда уплывала Бекки Шарп (героиня Теккерея), — тут витает дух Диккенса. Но раздумывать долго некогда. Нагружен чемоданами. Кругом невообразимая толчея: опять чиновники, проверка документов. И вот, я в узеньких вагончиках, поразительно похожих на старые русские дачные вагоны. Томительные два часа. И, наконец, Лондон. Первое, что бросается в глаза: кирпичные дома, бесконечно тянущиеся — промежутков между домами нет, или их не видно; поэтому издали кажется, что это один и тот же дом, растянувшийся на десятки километров.

На перроне в Лондоне меня встречают двое: мой крестник Евгений Кушев и солидный, упитанный господин лет 50-ти, — это Борис Георгиевич Миллер — представитель НТС в Лондоне. Еду к Кушевым. Они здесь снимают квартиру. Временно. Собираются ехать в Шотландию.

Люда. Как всегда, умная, жизнерадостная, очаровательная.

Отводит мне комнату. Это март 1975 года. Уже полгода, как я из России.

Смотрю в окно. Длинная улица. Мирная публика. Старушки, старички, ребята в джинсах, девушки в брючках. Невольно восклицаю (по Пастернаку): "Какое милое, друзья, тысячелетие на дворе!"

На другой день комическое происшествие. Просыпаюсь в 6 часов утра. Вспоминаю: сегодня 8 марта. Женский День. В России — это праздник (тогда еще русские, точнее советские, воспоминания

не выветрились). Надо сделать подарок хозяйке Люде. Встаю. Иду по пустынной улице. Дохожу до метро. Еду. Опять иду. Покупаю торт. Вдруг вижу объявление: музей мадам Тюссо. Восковые фигуры. Слышал об этом музее еще от матери: она девчонкой была в Париже, а восковые фигуры предприимчивой мадам и в Париже и в Лондоне. Подхожу к кассе, покупаю билет. Увы! Музей будет открыт только в 11. Пока брожу по улицам, захожу в церкву. Наконец 11. Музей открывается. Первое, что вижу: джентльмен протягивает ногу индусскому парнишке, тот чистит ему ботинки. Вспоминаю, что мои ботинки тоже нечищенные. Занимаю очередь за господином. И вдруг, и вдруг меня поражает странная неподвижность парнишки. И только тут соображаю, что оба они (и джентльмен и парнишка) восковые.

Иду дальше. Осмотр музея. Впечатление от восковых фигур сильное, но и какое-то жуткое. Точно побывал в покойницкой. Выхожу на улицу с облегчением. Ни одного слова по-английски. С непривычки мне кажется, что здесь не говорят, а чирикают по-птичьи.

Тут обнаруживаю, что записную книжку с адресом, как и паспорт, я оставил у моих любезных хозяев. Хорошо, что зрительная память не подвела. Метро. До конца. Улица направо. Дом. Звоню. Открывает дверь Женя, мой крестник. "Ну, устроили Вы праздник Люде". — А что такое? — Да то, что мы решили, что Вас похитили. Паспорт и деньги Вы оставили. Дверь открыта. Люда вся в слезах бежит по знакомым, сейчас пошла в полицию". Через некото-

рое время приходит Люда. Поздравляю, подношу торт. Как она потом признавалась: "Мне хотелось этим тортом ошарашить Вас по голове". Так началось мое знакомство с Англией.



В Англии я прожил в тот раз две недели. Потом бывал там раз десять. Живал и в Лондоне, и в пригородах, и в Уэлсе, и в Шотландии. Но определенного впечатления не получилось. Можно сказать лишь одно: страна неслыханных контрастов (пожалуй, в большей степени, чем в Америке); там контрасты национальные, расовые, здесь — социальные.

Представьте себе: два англичанина. Один — лет шестидесяти, другой — 23-24.

Это люди с разных планет: от стариков веет Диккенсом ("Домби и сын"). Строгие, молчаливые, сумрачные. В пиджаках, застегнутых на все пуговицы. — Молодежь разудалая, нарочито небрежно одетая: на всех джинсы и полуспортивные полурабочие куртки; ребята простые, веселые.

Простота. Причем простота нарочитая — в ней вызов викторианским традициям.

Однажды мне пришлось говорить с депутатом парламента, тори, католиком. Я был удивлен. Молодой парень, удивительно простой, по виду и по манере держаться — типичный рабочий — слесарь или монтер.

Не удержался, сказал: "Мы привыкли себе представлять парламентариев — тори — совсем по-другому".

— А как?

— Монокль, цилиндр, сигара. Остин Чемберлен. В ответ он расхохотался.

По существу, в Англии произошла революция. Потеря колоний, национализация промышленности, десятилетия лейбористского правления не прошли даром. Когда я другой раз делал доклад для молодежи (переводчиком был священник Бурдо), мне казалось, что передо мной мои московские парни и девушки из школы рабочей молодежи в Марьиной Роще. И внешность, и манеры, и восприятие, все буквально такое же. И мне хотелось спросить: "Ребятенки, но что это вам вздумалось говорить по-английски?" Но так как рабочая революция проходила в Англии бескровным путем, то и старина осталась. И в результате сосуществование двух жизненных укладов, двух различных психологических типов, — в какой-то степени мне это напомнило эпоху НЭПа (20-ые годы в России).

В этот первый раз моего пребывания в Лондоне я очень много выступал и познакомился со многими людьми.

Это, во-первых, — семья Миллеров. Колоритная семья. Русские, члены НТС. Ярые русские патриоты. Но в России никогда не были. И Россия для них чисто метафизическое понятие: г. Миллер родился в Югославии, мадам родилась в Париже. Граждане Чили. Очень много лет живут в Англии. Борис Георгиевич Миллер — хозяйственный мужик, поет в церковном хоре в местной православной церкви. (Зарубежной, крайне консервативной). Жена — Ки-

ра Константиновна. Урожденная Куракина, но не княжна. Ее дальний предок — декабрист, был лишен титула. Мать ее — черкешенка. И от нее, видимо, смуглый, восточный тип. Красива, женственна, хорошая мать, заботливая супруга. Два сына. Родители их прекрасно воспитали. Видимо, их обожают. Старший сын, как и младший — молодец. Быстрый, энергичный, толковый. Он рожден быть политическим деятелем. По образованию — экономист. По призванию — политик. Связан с либералами, с юношескими организациями Англии.

В то же время с русскими эмигрантами.

Другой сын — музыкант, композитор. Друг на друга очень не похожие. Но необыкновенно между собой дружные. Общительные, доброжелательные, всем интересующиеся.

Мне при соприкосновении с ними всегда вспоминалось изречение Белинского: "Если бы все сумели так воспитать сыновей, как старик Аксаков, можно было бы умереть спокойно".

Это говорил "неистовый Виссарион" про семью консерваторов и славянофилов. И я, отнюдь не являясь единомышленником семьи Миллеров, скажу то же. Хорошо, естественно и просто постигают иной раз добрые, честные люди вроде супругов Миллер сложную науку воспитания, науку, над которой мы, профессиональные педагоги, бьемся уже сотни лет. И без особых результатов. Да будет мне здесь позволено заняться плагиатом и применить к себе, задачливому педагогу и ко многим моим коллегам, эпиграмму Ильи Сельвинского:



”Сначала гражданин,  
Учитель уж потом.  
И ждем мы этого ”потом”  
Полсотню лет, и все на том”.\*

И другие деятели. Это прежде всего англиканский священник Михаил Бурдо. Уже очень много лет он занимается русскими делами. Стоит во главе организации Keston College, которая играет, примерно, ту же роль, что и организация пастора Фосса в Швейцарии — ”Glaube in der 2 Welt”.

Собственно говоря, и по типу два священнослужителя друг на друга похожи: безукоризненно порядочные, медлительные, образованные, все делают не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Сумели совершенно из ничего самостоятельно организовать научно-исследовательские институты.

Отец Михаил Бурдо издал по-английски книгу.

Эта книга имеет уникальное значение: наиболее полное описание русской церковной ситуации из всех сочинений на эту тему, появившихся на Западе за последние 50 лет.

Так же, как и пастор Фосс, он был женат на своей сотруднице, и жена была ему товарищем и другом. Несколько лет назад — большое горе: жена умерла от рака. Видел его во время болезни жены в Венеции. Бедняга! На него было жалко смотреть. Нежный отец. Имеет нескольких детей. Сейчас же-

---

\* У Сельвинского эпиграмма посвящена ”пролетарскому” поэту Безыменскому: ”Сначала гражданин, поэт уже потом, И ждем мы этого ”потом”, и т д.

нат второй раз. И эта, вторая жена — его друг и сотрудник. С виду человек спокойный и несколько флегматичный. И в то же время он способен на большое чувство. Сердечный.

Один раз в Лондоне я делал доклад о русской религиозной молодежи. Отец Михаил был моим переводчиком. И вдруг, когда я говорил о горькой судьбе Саши Огородникова, отец Михаил задохнулся и перестал переводить. Я взглянул на него вопросительно. Он сказал: "Подождите. Я справлюсь с волнением". И я увидел на его глазах слезы. Вся старая, добрая Англия здесь: практичная, деловая и сердечная.

Под статью ему сотрудница Института — Джейн Эллис. Тоже талантливая, энергичная, — великолепная переводчица. Добрая. Иметь с ней, как и со священником Бурдо, дело — сущее мучение.

Когда я был еще в России, в 1973 году, радио Би-би-си сообщило, что организация Бурдо "Кестон колледж" готовит издание сборника моих статей, переведенных на английских.

Сенсация! Даже журнал "Наука и религия" пришел в ужас и разразился по этому поводу статьей. Я должен успокоить редакцию этого журнала. И сейчас, через десять лет, все еще "готовится это издание". Я за это время издал уже тринадцать книг, и три мои книги переведены на немецкий. А "Кестон колледж" все еще ведет переговоры об издании моей книги. Боюсь, что когда и эти строки выйдут в свет, дело будет обстоять точно так же.

Я имел однажды крупный разговор по этому

поводу с госпожей Эллис. — Поссорились. Потом помирились. Все до сих пор обещает, что вскоре выйдет книга.

Как тут опять не процитировать Сельвинского:

”И ждем мы этого  
”потом”  
Уж десять лет и  
все на том”.



Уже тогда я познакомился с немногочисленной русской колонией. Наиболее колоритной личностью был тогда в русской колонии мой тезка Анатолий Васильевич Кузнецов.

В 1970 году, когда я сидел в тюрьме в Армави-ре, я узнал из передачи по радио, что он, известный советский писатель, сбежал на Запад. Его имя мне было знакомо с 1957 года. Его повесть ”Продолжение легенды” произвела в то время, во время хрущевского ”позднего реабилитанса”, большое впечатление. И сейчас было бы интересно ее переиздать.

Начинается повесть с хорошо мне знакомой картины. В одной из московских школ окончились экзамены на аттестат зрелости. Выпускной вечер, приветственные речи, радужные надежды... Но один из парней не попал в Институт; приходится ехать в далекую провинцию, на работу. И здесь начинается ”продолжение легенды”. В школе им внушали, что все трудности окончились в 1930 году ”Поднятой

целиной””. Это могу подтвердить: в сталинское время, в результате поверхностного и тенденциозного преподавания, лживых учебников, препарированных художественных произведений, из школы выходили парни и девушки, которые во всем, что касается жизни, были наивны, как институтки.

Впрочем, и здесь, на Западе, молодежь не умнее. И всего лишь месяц назад я услышал здесь, в Люцерне, от молодого парня следующую фразу: ”У Андропова ведь сын в Америке. Он же видит, что лучше. Почему же он не даст свободу?”

Тем горестнее ”продолжение легенды”, когда бывший ученик попадает ”к жизни в лапы”, и когда он убеждается, что все, чему его учили — не жизнь, а жалкая и приукрашенная подделка.

У Кузнецова в его первом рассказе это хорошо показано. Затем его главное произведение, вошедшее в золотой фонд русской литературы последних десятилетий (незаслуженно забытое): ”Бабий Яр”. О зверском истреблении еврейского населения нацистами, во время немецкой оккупации Киева.

Он, однако, сумел приспособиться к новым, послехрущевским временам. Потом побег во время официального визита в Лондон, в делегации советских писателей. При этом выяснился ряд некрасивых деталей.

Оказывается, Анатолий Кузнецов, чтобы завоевать доверие ”органов” и попасть за границу, написал политический донос на Евтушенко и на известного актера эстрадника Аркадия Райкина. Когда он в этом признался, многие от него отвернулись.

Слава его к тому времени, когда я с ним познакомился, померкла. Он, однако, бросил якорь в Лондоне, купил себе небольшой, но очень уютный дом. Женился на полячке. Но ничего не публиковал. Работал в лондонском представительстве радиостанции "Свобода".

Впечатление симпатичное. Ему уже было под пятьдесят, но производил он впечатление молодого парня: ему можно было дать лет 27-28. Отец у него был русский (но он его почти не знал), мать и дед с бабкой, у которых он воспитывался, украинцы. И он типичный хохол: веселый, шутник, подвижный и с хитрецей, большой хитрецей.

Мы с ним разговорились. И хотя слава его была на закате, но он не производил впечатление унывающего. Трудолюбив он был необыкновенно; и ввиду того, что денег стало маловато, он, знаменитый писатель, взялся за "черную работу", стал "машинисткой"— занялся перепечатыванием на машинке рукописей. На этой почве и мы с ним сблизились. Он перепечатывал мою очередную рукопись: работал быстро, хорошо, с увлечением.

Видимо, уроки сурового дедушки, полученные в детстве, пошли впрок.

Увы! Недолго продолжалось наше сотрудничество. Приезжаю однажды в Лондон (это было через четыре года после начала нашего знакомства) и застаю его больным. Оказывается, у него был инфаркт. Он в постели. В хороший теплый день, покрытый теплым одеялом, весь в поту. Опять дедушкины уроки: у крестьян считается, что больному нужно тепло.

Я пришел в ужас: для человека, у которого только что был инфаркт, лежать под жарким одеялом — смерть. Без церемоний я сорвал с него одеяло.

Говорили. Он поразил меня трезвым пониманием своего положения. Сказал, что, вероятно, на этот раз поправится: первый инфаркт обычно оканчивается благополучно. На прощание я его перекрестил. Он просиял, сказал: "Спасибо!" Мы поцеловались. Через полгода из швейцарских газет я узнал о его смерти. Мы виделись с ним на его лондонской квартире в последний раз. Мой поцелуй оказался прощальным.



А летом 1975 года я получил приглашение участвовать в конференции Общества Преподобного Сергия и мученика Албана.

Это общество было учреждено в 20-ые годы XX века. Его целью является сближение англикан с православными. Впоследствии цели общества значительно расширились; в нем активное участие приняли и английские католики. Эта конференция — одно из самых светлых воспоминаний моего пребывания за границей.

Из Лондона на этот раз мне пришлось проехать на автомобиле за город, в небольшой древний городок.

Я не буду здесь подробно рассказывать историю этого замечательного Общества, отсылая читателя к великолепным воспоминаниям покойного Николая Михайловича Зернова.

(См. 2-ой том его мемуаров "За рубежом. Белград — Париж — Оксфорд. Хроника семьи Зерновых". Умса-Press, Paris, стр. 217-223).

Должен сказать, что получил я приглашение принять участие в работе этого общества единственный раз, и то только потому, что Митрополит Антоний Блюм, признанный вождь этого общества, был в это время в Москве. Дело в том, что Митрополит Антоний является или, вернее, считается представителем Московской Патриархии, а у меня прочная репутация противника Патриархии. (Сколько переговорок придумали люди!) Зато в этом обществе нашелся у меня верный друг, Николай Михайлович Зернов. Об этом замечательном человеке и знаменитом богослове следует сказать особо.

Я первый раз услышал о нем в Москве в 1956 году, когда после возвращения из лагеря стал по заказу Митрополита Николая писать очерк истории Русской Православной Церкви. В это время меня снабдили зарубежной богословской литературой: книгами проф. Георгия Петровича Федотова и Н.Ф.Зернова. Впоследствии я узнал, что его надо называть не Зернов (весьма распространенная русская фамилия), а Зёрнов. Его книги о малабарских христианах (в Индии) меня поразили и заинтересовали широтой взгляда и огромной эрудицией. Через несколько лет я вновь услышал его фамилию. В это время в Москве появилось исповедание веры малабарских христиан, которая, как известно, является монофизитской.

Там была интересная богословская интерпре-

тация догмата о двух естествах во Христе; толкование этого догмата, как известно, является главным предметом споров между монофизитскими церквами и всеми остальными христианами. И вот в исповедании веры церкви св. Фомы появилась совершенно новая формула: — о соединении естеств во Христе, как и о Св. Троице, одинаково нельзя сказать, что их два и что оно одно. Ибо их нельзя смешивать и нельзя разделять. Это соединение не механическое, а мистическое.

Меня поразила эта формула. Я спросил одного из наших московских деятелей: "Что это? Неужели малабрийские церковники до этого додумались? (Церковь малабрийских христиан не имеет в своей среде особенно выдающихся и интеллигентных людей).

Известный деятель мне ответил: "Да нет, там сейчас Зернов. Это он им все пишет".

Тут все стало понятно. И, наконец, перед самым выездом из России я прочел его замечательную книгу "Русское религиозное возрождение XX века".

Эта книга сейчас передо мной. Открываю ее. На первой странице надпись (по старой орфографии, с ятями и твердыми знаками):

"Анатолию Эммануиловичу Левитину-Краснову (.....пропускаю несколько лестных для меня и совершенно незаслуженных эпитетов) с благодарностью за дружбу от Николая Зернова". Пасха 1975 г.

Наше знакомство состоялось в Цюрихе на первой неделе Великого Поста. Он упоминает об этой встрече в своей книге "Закатные годы" (Ymca Press, Paris — 1981 г. стр. 36).



То была первая неделя Великого Поста, и я перебрался на всю неделю из Люцерна в Цюрих, так как говел на первой неделе, а в Люцерне православной церкви нет.

Николай Михайлович приехал также из Люцерна, где в это время происходил богословский конгресс. Мы провели с ним несколько дней в гостинице, где я всегда останавливался и где я занял для него заранее номер. Он посетил Солженицына, и говорит в своей книге о нем с большой теплотой, как о человеке, "преодолевшем соблазн ленинизма". Он рассказывает о подарке, который ему сделал Солженицын. О книге "Из-под глыб". И в то время дружба со мной — социалистом, резко враждебным идеям, которые высказываются в книге "Из-под глыб". Это говорит о широте взглядов покойного Николая Михайловича. И здесь мы встречаемся с особенностью старой русской интеллигенции — с умением все понимать и все рассматривать объективно. Свойство, совершенно утраченное современной русской интеллигенцией, находящейся "и там, и тут" (и в России и за рубежом — третья эмиграция).

И вот, второй раз мы встретились с Николаем Михайловичем на конференции в Хайли. Я выступал несколько раз. Рассказывал о жизни и переживаниях верующих христиан в России. Николай Михайлович был моим переводчиком. И тут же я познакомился с его чудесной женой Милицей Владимировной Зерновой, которая оказалась землячкой моей матери (уроженка Тифлиса).

Милица Владимировна трогательно заботилась

обо мне, оболтусе, не знающем ни одного слова по-английски: и доставала мне билет, и сажала меня в поезд, и разъясняла, как добраться до вокзала в Лондоне. Энергичная, заботливая, простая. Но за этой простотой — такая большая культура, свойственная старой русской интеллигенции и (увы!) утраченная в современных поколениях, чуждая и современной западной интеллигенции.



Произведения Николая Михайловича Зернова заслуживают самого пристального внимания, так как они ставят актуальные проблемы церковного строительства во главу угла. Особенно это относится к его книге, популярной в современной России среди церковной интеллигенции "Русское религиозное возрождение XX века".

Совершенно оригинальное произведение (трудно найти ему какую-либо аналогию и в русской литературе и в западно-европейской), трехтомник, посвященный семье Зерновых, который является неоценимым пособием для изучения русской жизни в начале века, во время революции и гражданской войны, во время эмиграции и во время второй мировой войны, и в самое последнее время.

Николай Михайлович умер 24 августа 1980 года, и последний параграф его книги "Закатные годы" продиктовал жене Милице Владимировне за несколько часов до смерти.

Все три книги представляют собой не только исторический и художественный интерес, но и инте-

рес психологический. Семья Зерновых — семья необыкновенно одаренная. Незаурядными людьми был и дед Николая Михайловича, московский протоиерей отец Степан Зернов, и его отец — известный врач, и Софья Михайловна Зернова — сестра Николая Михайловича — основательница и директриса Детского Дома в Монжероне. Благотворительница и общественная деятельница, спасшая в военное время сотни эмигрантов от голодной смерти и от выдачи чекистам. Смелая, инициативная, самоотверженная женщина! Не говоря уже о самом Николае Михайловиче и его жене Милице Владимировне.

К сожалению, наша встреча с Николаем Михайловичем в Хайли оказалась последней. Но переписка наша продолжалась до самого дня его смерти.

На его книге, подаренной мне в 1975 году, имеется следующая дарственная надпись:

”Анатолию Эммануиловичу Левитину, жизнь которого шла долгие годы по параллельному руслу с автором этих воспоминаний. Но встретились они в 1975 году.

Николай Зернов”.

S. Gregory House (Canterbury Road) Oxford.

Прощаясь с Николаем Михайловичем, скажу, словами Шекспира: ”Человек он был”\*.

И еще. Как про нашего Александра Сергеевича Грибоедова: ”Дела твои бессмертны в памяти русской”.\*\*

---

\* Вильям Шекспир — ”Генрих IV” (Про герцога Перси).

\*\* Надпись на надгробии А.С. Грибоедова, сделанная его женой — урожденной княжной Ниной Чавчавадзе.

В этот же приезд я побывал и на радиостанции Би-би-си. Все очень импозантно. Грандиозное здание в центре города. Великолепная мраморная лестница, шикарные кабинеты, усовершенствованная радиоаппаратура. Это не то, что "Liberty" в Мюнхене, где все на живую нитку.

Я побывал в русском отделении; церковными передачами тогда ведал Иван Иванович Сапиец, латыш, лютеранский пастор. Эмигрант. У меня с ним старая связь. Когда-то, в 1967 году, он передавал по радио мою книгу, изданную Преосвященным Иоанном Сан-Францисским: "Защита веры в СССР".

Он подарил мне экземпляр этой книги. Сейчас она лежит передо мной. В тексте карандашные отметки, птичкой отмечены параграфы, которые передавались по радио в воскресные дни. Иван Иванович — удивительно милый, мягкий человек. И по обращению, и по манерам, и по образу жизни это был настоящий джентльмен и глубоко верующий христианин.

Он сама доброта. Но неласково обошлась с ним жизнь. Года два назад я был в Би-би-си. Опять встретились с Иваном Ивановичем. Мирно беседовали. Деловой разговор о передачах по радио. Вдруг он говорит: "После травмы я некоторое время ничего не передавал".

Я (с безразличным видом): Травмы? Какой травмы?

Ответ заставил меня оцепенеть от ужаса. Со своим обычным спокойным видом он произнес: "В автомобильной катастрофе погибли моя жена и сын".

И это еще не конец. Вскоре Иван Иванович заболел ужасной болезнью — раком крови. И до самой смерти работал: он вел все религиозные передачи, весь религиозный отдел держался на нем. Выдержка у него была изумительная, но это не та холодная олимпийская воля, которая бывает у вождей и диктаторов. Это настоящее христианское спокойствие, которое идет от мира в душе, от Бога.

И опять хочется сказать о нем стихом, стихами, как это ни странно, Маяковского:

"Не сатрапия твердость,  
триумфаторской коляской  
мнущая  
тебя,  
подергивая вожжи.  
Он  
к товарищу  
милел  
людскою лаской".

Это Маяковский о Ленине. Насколько более подходят эти слова к чудесному, доброму Ивану Ивановичу. И здесь невольно вспоминаются слова: "Скажу Богу: не обвиняй меня, объяви мне, за что

Ты со мной борешься? Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь меня, что презираешь дело рук Твоих, а на Совет нечестивых посылаешь свет?”  
(Книга Иова. 10, 2-3).

Так спрашивают у Бога тысячи лет праведные страдальцы, так спрашиваю я от имени Ивана Ивановича. Я — баловень Божий, не раз спасаемый Им от страшных опасностей и не по заслугам счастливый и удачливый человек.

Каков ответ?

Ответа нет!



И уже в первое посещение Лондона я познакомился со всеми представителями церковной эмиграции, проживающими в Англии.

В Лондоне есть два центра русского православия: храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором служит епископ Зарубежной Православной Церкви; и другой храм в честь Пресвятой Троицы, где находится кафедра одного из самых образованных и талантливых православных архиереев, Митрополита Сурожского Антония Блюма, находящегося в каноническом общении с Московской Патриархией.

И та и другая церкви имеют в Лондоне множество приверженцев, причем не только среди русских эмигрантов, но и среди англичан, принявших православие.

Находясь в Лондоне, я большей частью бываю в Успенском храме, принадлежащем Зарубежной

Церкви. Отчасти потому, что я являюсь гостем моих лондонских друзей Миллеров. (Оба супруга — активные прихожане этого храма: Борис Георгиевич — регент, а его супруга — певчая).

Отчасти же потому, что здесь на Западе меня влечет туда, где "Русь, где Русью пахнет".

В те времена там служил престарелый Архиепископ Никодим. Очень интересный и симпатичный старик. Умер он в 1977 году в глубокой старости: ему было тогда уже 90 лет.

Примечательна его биография.

Отпрыск старинной офицерской династии, он окончил 1 Кадетский корпус в Петербурге, затем стал офицером, боевым офицером. Дослужился до полковника, а в конце войны стал генералом. Таким образом, это один из последних русских царских генералов.

Он всегда был глубоко религиозен, поэтому в эмиграции (очевидно, после смерти жены) принял монашество. А после 2-ой мировой войны, очутившись в Америке, был рукоположен во епископа и получил назначение в Лондон.

Я много раз бывал на его служении, дважды у него причащался. Однажды был его гостем, в его архиерейских покоях.

Покои его были такие же, как у дореволюционных архиереев. В нижнем этаже — крестовая церковь, вся уставленная иконами древнего письма. Его келейник Архимандрит Никанор, почтенный старец, тоже из бывших офицеров. Во время моего посещения у Владыки было много гостей, большое

застолье: иноки, батюшки, отец протодиакон, инокини и старые благочестивые барыни. Казалось, мы перенеслись в один из русских губернских городов XIX века. В Кострому или в Ярославль.

Владыка произвел впечатление исключительно молитвенного и доброго человека.

Однажды, в трапезной при его храме, в день престольного праздника Успения Пресвятой Богородицы, попросили меня рассказать о России. Я рассказал о русской церковной молодежи, о возрождении в ней религиозных чувств.

Владыка, посреди моей речи, закрыл лицо руками и разрыдался, как ребенок.

В день моего рождения, который я в 1976 году проводил в Лондоне, Владыка, к моему большому смущению, произнес мне посреди храма приветственную речь (мой день рождения совпадает с праздником Рождества Пресвятой Богородицы) и тут же благословил меня образом Толгской Божией Матери.

Держу сейчас в руках этот образ. На иконе простое русское лицо. Лицо крестьянки. Скорбное и утомленное. И на руках Младенец, тоже типичный русский крестьянский ребенок. И кажется мне, что это лицо многострадальной скорбной России.

Лицо Богоматери, столь чтимой среди русского народа, отразило и эту вековую русскую, щемящую грусть и этот вековый русский труд.

Владыка умер осенью 1977 года. Некоторое время его замещал Женевский Владыка Антоний.

После него во главе православной общины



Лондона стоял некоторое время православный англичанин Архимандрит Алексей. Как говорят, тяжелый человек.

Как многие неофиты, он старался быть большим роялистом, чем сам король. У него с прихожанами постоянно столкновения, между прочим, из-за того, что он не хотел поминать на литургии их английских родственников, отказывал даже женам в панихидах об их мужьях, если те не были православными.

В это время в приходе совершенно исчез тот любовный, мирный дух, который был при покойном Владыке Никодиме. Слава Богу, теперь отца Алексея уже нет в соборе.

В 1982 году из Америки прибыл Епископ Константин, тоже старенький, благочестивый, любвеобильный. Дай ему Господь многих лет жизни.

Был и у него в гостях. Все хорошо и любовно, как и при его предшественнике Владыке Никодиме. Но и некоторые перемены: совершенно исчезла византийско-российская атмосфера. Во всем чувствуется дух нового хозяина, простого непритязательного, глубоко религиозного инока-аскета.

Владыка живет в полном одиночестве, без всякой свиты и слуг. Сам готовит. Напыщенным английским прелатам следует приходить сюда, чтоб научиться смирению и истинному Духу Христову.

А Архимандрит Алексей служит теперь в часовне на кладбище и... воюет с покойниками.

Когда я последний раз был в Лондоне, летом 1982 года, мои хозяева ушли на приходское собра-

ние и вернулись в 2 часа ночи. Утром я спросил, почему они так поздно заседали. Оказалось: отец Алексей воинствовал, говорил о необходимости организовать на лондонском кладбище особый участок для православных, чтобы их прах, не дай Бог, не смешался бы с прахом инославных.

Я невольно рассмеялся и первый раз в жизни спросил себя, где бы я хотел быть похороненным. Пожалуй, на еврейском кладбище в Питере, рядом с могилой бабушки. Кстати сказать, последний раз я был там с одним молодым священником, который по-хозяйски распорядился насчет сооружения раковины над могилой. Рабочие предложили расширить участок.

Я ответил: "Зачем? Родных у нее кроме меня уже никого не осталось. А меня здесь не похоронят. Я ведь христианин!" Ребята ответили: "Ну так что же, аль покойники обидятся?"

Сейчас за могилой ухаживает моя жена, чисто русская женщина.

Реплику русских ребят следовало бы слышать православнейшему англичанину.

И еще ему, как монаху, надо бы вспомнить и другие слова: "Иди за Мной, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов". (Мф.: 8,22)



И другой православный храм в Лондоне. Троицкая церковь. Это церковь, находящаяся в общении с Московской Патриархией. Здесь поминается имя Пимена, Патриарха Московского и всея Руси.

Во главе стоит сильная и яркая личность — Митрополит Антоний Блюм.

Необычайно в нем все: и происхождение, и биография, и огромная эрудиция, и большой проповеднический и лекторский талант. Я видел его первый раз в Москве, в храме Николы в Кузнецях, где он совершал литургию. Я был в алтаре. Когда во время предпричастного стиха отец Всеволод представил меня Владыке, тот молча меня благословил, не сказав ни одного слова.

Однако в Лондоне после одного из моих докладов ко мне подошла дама и передала от Владыки извинение (собственно говоря, в чем?), что он в тот раз в Москве не понял, кто я такой.

В Лондоне я его посетил и говорил с ним в первый раз.

Тогда он еще жил в отдельной, хорошей квартире, которую он потом уступил одному из своих священников, женатому человеку, а сам перебрался в скромное помещение при Храме.

Разговор был приятный. Сразу чувствовался тонкий интеллект, и к тому же превосходно воспитанный человек.

Владыка Антоний (в миру Андрей Борисович Блюм) родился в 1914 году в Швейцарии, в Лозанне, в европеизированной семье дипломата.

Отец Владыки был русским консулом в Лозанне. Затем — стремительное *salto mortale*: в 1915 году семья дипломата переезжает в Персию. И вот, 1917 год. Революция. На родину возврата нет. Семья переезжает в Париж. В положении семьи большая пе-

ремена: отец семейства в Париже не в качестве молодого, преуспевающего, блестящего дипломата, а в качестве беженца, бедняка, обремененного семьей.

Юноша Андрей Блюм вынужден работать и одновременно учиться. В то же время он общается со своими товарищами по несчастью: состоит членом эмигрантского кружка молодежи.

Семья Андрея Блюма, подобно всем интеллигентским семьям дореволюционного времени, вероятно, не отличалась религиозностью: посещение пасхальной заутрени (обедню не стояли) и "разговенье" (разговенье — собственно говоря, зачем, — никто же в этой среде все равно не постился!) — это тот минимум религиозности, который был принят в советском обществе, в интеллигенции. Характерно, что Андрей Блюм по собственному признанию первый раз прочел Евангелие в 16 лет. В его автобиографии, которую я читал при самых необыкновенных обстоятельствах, в лагере, в самиздате (один из моих друзей сумел мне ее переслать с воли в виде писем), Владыка очень подробно рассказывает о своем обращении к Богу.

Так как его автобиография мало известна, позволю себе пересказать историю его обращения.

Однажды руководитель кружка извещает Андрея, что они пригласили одного известного протоиерея прочесть у них лекцию. Он говорит Андрею: "Приходи; неудобно будет, если никто не придет, — мы же сами его пригласили".

Доклад знаменитого богослова был воспринят юношей Андреем Блюмом резко отрицательно. Воз-

вращаясь домой, он думал: "неужели, действительно таково учение Христа?"

Евангелие нашлось. В каком доме не было маленькой книжечки, изданной в конце века, — украшенной на обложке крестом... Андрей, взяв Евангелие в руки, прежде всего посмотрел на оглавление, какое из Евангелий самое короткое. Оказалось, Евангелие от Марка.

И вдруг... и вдруг нечто невероятное. Когда он дошел до третьей главы, он почувствовал, что Христос рядом. И в этот момент он, почти неверующий юноша, стал христианином.

Откроем и мы Евангелие от Марка. Будем читать первые три главы. И постараемся понять, что так поразило юношу Андрея?

Прежде всего от этих глав веет молодостью. Чувствуется, что пишет юноша с порывистым, восточным темпераментом, тот самый, который в момент ареста Христа вскочил с постели, выбежал на улицу, обернув себя простыней по голому телу, и побежал, чтоб увидеть конец. В каждом слове — порыв, стремительность, "Sturm und Drang".

Пишет юноша и пишет о юноше, о молодом Иешуа — галилеянине.

Здесь нет ссылок на пророков (только одна — в самом начале). Сразу, с первых строк, в стремительном темпе, о чудесах Христа, о Его проповеди, о Его личности.

Смелость, отвага, дерзание. Христос опрокидывает все древние обычаи, все косное, затхлое, дряхлое. И призывает к разрыву с традициями, к смелости:

”И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот мать моя и братья мои! Ибо, кто будет исполнять Волю Божию, тот мне брат и сестра и мать”. (Мрк. 3,35).

Как это все не похоже на консервативную проповедь эмигрантского священника, который хотел сделать из Евангелия руководство для консерватизма и чистой метафизики.

Юноша отверг это толкование Евангелия и обратился к Христу Жизнедавцу, вечно юному и дерзновенному, поправшему смертью смерть.

Но не так ли поступил в свое время и другой юноша — ливенский попович — семинарист, который отверг семинарскую схоластику, стал марксистом, чтоб потом познать в Христе Агнца Божия?.. И если бы отец Сергей Булгаков познакомился бы тогда с молодым Андреем, он, быть может, сказал бы: ”Этот нашего рода!”.

Что же все-таки произошло с юношей Андреем? Ответ мы, быть может, найдем в другой книге, написанной также рукой провидца: ”Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарилась в уме его — и уже на всю жизнь, и на веки веков.

Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым и на всю жизнь бойцом. И сказал, и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь этой минуты. ”Кто-то посетил мою душу в тот час”, — говорил

он потом с твердой верой в слова свои"... (Ф.М.Достоевский "Братья Карамазовы". Москва. "Изд. Правда", 1982 г. Собрание сочинений. Т. 11, стр.427).

У Достоевского повествование о прозрении Алеши оканчивается несколько неожиданно:

"Через три дня он вышел из монастыря, что согласовалось и со словами покойного старца его, повелевшему ему "побывать в мире".

И Андрей Блюм после своего прихода к Христу идет в мир — оканчивает медицинский факультет, становится врачом-психиатром.

Интересно, что такой проникновенный знаток Достоевского, как покойный Валерий Яковлевич Тарсис, в своем неизданном романе "Мои братья Карамазовы" тоже заставляет Алешу стать врачом-психиатром.

О врачебной деятельности Андрея Борисовича Блюма я слышал много. Старые эмигранты говорили о нем, как о враче-бессеребреннике, который лечил бедноту, не жалея ни сил, ни средств. Во время войны он принимает тайное монашество, участвует в движении Сопротивления.

Человек одного духа с Матерью Марией, с Ликой Оболенской, с Борисом Вильде.

В 1948 году, в момент оскудения священства, он принимает рукоположение в священный сан и переезжает в Лондон.

Отец Антоний работает в содружестве св. Альбана и препод. Сергия. В 1950 году он становится настоятелем лондонского прихода. 30 ноября 1958 года он рукоположен в сан епископа, а в 1966 году он

Митрополит и Экзарх Московского Патриарха в Западной Европе. Увы! Недолго продержался Владыка в этой должности.

Вскоре между ним и Москвой пробежала черная кошка. Когда Солженицын был арестован (весной 1974 года), Владыка отслужил о нем молебен и выступил в его защиту. Это ему в Москве не простили.

Сейчас он, не порывая связи с Патриархом, служит в качестве епархиального архиерея, предстоятеля английской православной патриаршей церкви. Его целью является получение духовной автономии или автокефалии для английской православной церкви.

●

После моего личного знакомства с Владыкой произошел знаменательный инцидент:

Выйдя в переднюю, куда меня провожал гостеприимный хозяин, я со свойственной мне бесцеремонностью бурша заглянул в раскрытые двери одной из комнат. Владыка деликатно заметил: "Там нет ничего интересного".

Ошибался. Интересное было. Еще в Москве мне рассказывали, как Патриарх Алексий, будучи с визитом в Лондоне, посетил своего экзарха.

Пресс-конференция. И вдруг в самый неожиданный момент защелкали фотоаппараты журналистов. Оказалось, что Патриарх сидит под царским портретом.

Как мне говорили, Владыка Антоний по этому



поводу заметил: "Да, я монархист. А это портрет моего государя. Я же никому своих убеждений не навязываю".

Глазами я стал искать знаменитый портрет; действительно, в комнате, в которую я заглянул, большой портрет в золоченой раме. Александр II.

Ну что ж, портрет Александра II и я (не монархист, а эсер), пожалуй, бы повесил. Все-таки для России он сделал много хорошего.

И мой отец когда-то говорил: "Такого после него не было и не будет".



Я видел Владыку потом много раз. Он живет в тесном помещении в храме. Болеет. Сидит, вытянув ногу. Но по-прежнему служит, проповедует.

И хотя я далеко не во всем согласен с Митрополитом, но хочется о нем сказать словами Золя о Папе Льве XIII (я уже приводил их по другому поводу): "Превосходный человеческий тип".



И еще одно лондонское знакомство. Здесь я первый раз увидел Владимира Родзянко, который наряду с Владыкой Иоанном Сан-Францисским является одним из самых популярных людей среди русских слушателей радио.

Отец Владимир — внук Михаила Васильевича Родзянко, прославленного Председателя Государственной Думы последнего четвертого созыва. Имя знаменитого деда мне было знакомо еще в раннем



*Преосвященный Василий  
(в миру Владимир Родзянко)*





*Дед Преосвященного Василия  
– Михаил Васильевич Родзянко –  
председатель Государственной Думы.*



детстве по рассказам отца. Его воспоминания я читал, когда мне было 13-14 лет.

Я, конечно, вряд ли бы был сторонником Михаила Васильевича, если бы жил в ту эпоху. Тем не менее должен сказать, что нет деятеля предреволюционной эпохи, который заслуживал бы большего уважения. Кристально честный человек, сторонник строгой законности, враг каких бы то ни было эксцессов, он был монархистом, но это не мешало ему быть резким противником лжецов, льстецов, интриганов, окружавших двор Николая II.

Не было большего врага "распутинщины", чем Михаил Васильевич Родзянко. Известен эпизод, когда он выгнал Распутина из Казанского Собора во время празднования юбилея 300-летия дома Романовых.

В лицо Николаю Второму он не раз протестовал против засилия распутинской шайки. Он требовал отставки Штюрмера и последующих рептильных и ничтожных министров (Трепова, Голицына, Протопопова и других). Он был ярким врагом распутинца — Митрополита Питирима. За все это он стяжал ненависть несчастной и больной государыни Александры Федоровны, сыгравшей такую зловещую роль в истории России. Она, как известно, в своих письмах Государю удостоила его ругательным (но в данном случае почетным) эпитетом "скотина".

Дальнейшая жизнь знаменитого государственного деятеля широко известна. Участие в белом движении. Эмиграция. Жизнь в Сербии. Оскорбление и глумление черносотенцев. Смерть.

В этой атмосфере растет малолетний внук Председателя Государственной Думы Володя — будущий отец Владимир Родзянко.

Ему также предстоял тяжелый и славный путь.

Сербия. Повышенная религиозность. Принятие священного сана. Тюрьма в титовской Югославии. Страшная перспектива — гонение и, быть может, насильственная смерть.

Но вот происходит ссора двух диктаторов. Тито резко меняет ориентацию. И отец Владимир, освобожденный из заключения, выслан в Лондон. Он работает на радиостанции Би-би-си. Начинается его деятельность в качестве проповедника по радио. Увы! И здесь путь отца Владимира отнюдь не был устлан розами. Это было время коллаборационизма, который господствовал в английских правительственных кругах. Правящие деятели Англии пытались задобрить всяческими уступками и уступочками советских диктаторов, совершенно так же, как в свое время и мистер Чемберлен пытался задобрить Гитлера (как известно, чуть-чуть не задобрил).

Но как говорил когда-то на берегах Темзы старый ирландский шутник Бернард Шоу: "Уроки истории отличаются тем, что их никто и никогда не увлекает". В кругах Би-би-си в это время преобладает теория, что английская радиостанция должна заниматься лишь... новостями спорта.

Как будто в СССР мало спортсменов и мало обозревателей спорта.

С большим трудом отцу Владимиру удастся протолкнуть апологетические передачи, в которых

философские идеи современности рассматриваются в свете достижений физики и высшей математики.

Этот цикл передач (в 1967 году) сразу сделал имя отца Владимира одним из самых популярных в России; среди духовенства и среди русской религиозной интеллигенции. Его передачи без конца записывались на магнитофон, стенографировались, записи распространялись в самиздате.

Отец Владимир также высказывался и по вопросам церковной политики. В частности, в 1966 году, в разгар борьбы отцов Глеба Якунина и Николая Эшлимана против коллаборационистской политики Патриархии, отец Владимир выступил по радио с "умиротворяющими" заявлениями. Это вызвало резкий отпор со стороны пишущего эти строки. Я уже давно к этому времени излечился от всяких миротворческих иллюзий и понимал, что с КГБ, стоящим за спиной Патриархии, можно говорить лишь резким и требовательным тоном.

Одна из моих статей попала на Запад и стала известна отцу Владимиру. Он вступил со мной в дискуссию по радио, однако эта дискуссия проводилась им в мягком, джентльменском тоне. Внук Председателя Государственной Думы — это не бесшабашные и невежественные "столпы третьей эмиграции".

Будучи в Англии, я познакомился с отцом Владимиром, бывал в его доме, в его чудесной патриархальной, русской семье.

Отец Владимир в это время продолжал свою деятельность на радиостанции. Но трудно ему при-



ходило: заправили радиостанции ущемляли его, как только могли: сокращали радиопередачи, цензуровали их, вылавливали каждое смелое слово. Почему-то руководители радиостанции решили, что в Советском Союзе ничем, кроме спорта, не интересуются. Они, верно, о русском радиослушателе судили по себе.

Жена отца Владимира (интеллигентная, умная женщина, также много пережившая) не только была верной помощницей отца Владимира, но и сама выступала по радио. Я, в частности, выступал по Биби-си совместно с ней. Ее выступление о работе библейского общества, насыщенное богатым фактическим материалом, произвело большое впечатление. В это время казалось, что судьба отца Владимира наладилась, и все горести остались позади. Оказалось не так. Самое страшное его ожидало впереди.

Через несколько лет скоропостижно скончалась его жена. Умерла, как жила, во время работы. В помещении радиостанции, сделав очередную передачу, она упала; к ней подбежали. Оказалось, мертва. Инфаркт — по-старинному, разрыв сердца.

А через год после этого отец Владимир потерял горячо любимого внука. Здесь надо отметить, что отец Владимир с женой воспитывали двух внуков, отец которых с другой своей семьей жил в Берлине. Вырастили. Двое прекрасных, трудолюбивых юношей. И вот, однажды один из внуков поехал кататься на автомобиле отца Владимира. Катастрофа. Причина не выяснена, но есть основания думать, что катастрофа была подстроена агентами Лубянки,

которые думали, что в автомобиле хозяин машины, отец Владимир.

Бедный юноша не был убит. Он мучился в течение нескольких месяцев. Врачи поддерживали угасающую жизнь. И перед смертью мальчик постиг нечто такое, чего мы не знаем. Он говорил: "Не удерживайте меня. Я уже был там. Там так хорошо".

При этом контроль сознания сохранялся полностью. В день смерти он простился с братом. Сказал ему: "Иди и сдавай экзамен". Брату предстоял экзамен. "И не грусти обо мне". В этот день мальчик умер.

Профессор Ясперс неоднократно писал о том, что переживания умирающих — свидетельствуют о будущей жизни.

После смерти любимого внука у отца Владимира не было колебаний: он принял монашество от Митрополита Антония Блюма. Из протоиерея Владимира Родзянко стал иеромонахом (а потом архимандритом Василием). Еще год, и перед новым монахом открывается особое поприще.

Архиерейское служение. Его рукополагают во Епископа. С 1980 года Владыка управляет Сан-Францисской епархией. И является одним из руководящих деятелей в Синоде американской Православной Церкви. Нелегкое поприще: русская эмиграция в Америке раздирается церковным расколом. Насчитывается три течения: "Зарубежная Православная Церковь" (с центром в Джорджанвиле, возглавляемая Митрополитом Филаретом)\*, американская Пра-

---

\* Ныне покойным, в последнее время (1986 г.) митрополитом Виталием.

вославная церковь, возглавляемая Митрополитом Феодосием, Русская православная церковь, возглавляемая Экзархом Московской Патриархии.

Но Владыка Василий и в этой борьбе сохраняет достоинство, миролюбие, глубокое молитвенное настроение.

Видел его и в Вашингтоне и в Сан-Франциско. Он такой же, как и раньше: во всем чувствуется большая культура. Безукоризненное воспитание. Но и нечто новое: от него исходит тихий свет преображенной личности, человека, которого посетил Бог.



Мне запомнился один из эпизодов моего пребывания в Англии. Я был в гостях у Владыки Василия (тогда еще отца Владимира Родзянко). Кроме меня был еще Иван Иванович Сапиец (ныне покойный).

После ужина отец Владимир, Иван Иванович и я поехали в Виндзор (знаменитую резиденцию английских королей). Там жил Иван Иванович. Приехали в темноте. Объехали королевский замок. Иван Иванович сказал: "В комнатах королевы нет света. Она, видимо, сегодня ночует в Лондоне".

А у меня сердце сжалось от зависти: когда же на Руси настанет такое время, когда о главе государства будут говорить так доброжелательно и фамильярно, как о добром соседе.

Помню: В 1947 году в "Британском Союзнике" появилась фотография: в день свадьбы Елизаветы II (тогда принцессы Уэльской) народ привет-

ствуется новобрачных. На балконе вся королевская семья. И среди них король Георг VI в мундире морского офицера, скромный, несколько смущенный, с наклоненной головой.

Помню, отец сказал: "Нужны века культуры, чтобы так стоять"; нужны века культуры, чтоб королева стала добрым соседом.

И с этим впечатлением я покинул Англию весной 1975 года.



Все, о чем рассказывается в этой книге, старт. Первый год моего пребывания на Западе. Мои первые впечатления.

Главное было потом.

Обо всем, что было после, надеюсь рассказать в следующем томе. Что скажу теперь?

Мне неоднократно предсказывали, что здесь, на Западе, я переменю свои убеждения и переменюсь сам. Пременился ли я? Нет, не пременился.

О себе я рассказывал неоднократно. Рассказывал о своих взглядах. Повторяться не стоит. *Non bis idem*\* — как говорили римляне. Вместо этого повторяю лозунг самой близкой мне русской партии — партии социалистов-революционеров: "В борьбе обретишь ты право свое!"

И право своих друзей и своего народа и своей Церкви.

Под эти лозунгом прошла моя жизнь.

И с этим лозунгом на устах я надеюсь встретить смерть.

---

\* не дважды — об одном.

# **ПРИЛОЖЕНИЕ**

## **ПУТЯМИ ИСТОРИИ**

### **(Три книги Зерновых)**

Мы только что познакомились с Николаем Михайловичем Зерновым, познакомимся с его книгами, они этого вполне заслуживают. Прежде всего книга, которая в свое время станет классической, созданная им в конце жизни в трех томах.

Первый том — "На переломе Три поколения одной московской семьи". (Семейная хроника Зерновых. Имка-пресс. 1970).

Второй том — "За рубежом. Белград — Париж — Оксфорд". (Имка-пресс. 1973).

Третий том — "Закатные годы. Эпилог хроники семьи Зерновых". (Имка-пресс. 1981.).

Как и все замечательные книги, эта книга не имеет жанра. Оригинальность книги в том, что она включает ряд авторов: родитель, известный московский врач Михаил Степанович Зернов, его супруга, Софья Александровна Зернова-Кеслер, сам Николай Михайлович Зернов, его жена Милица Владимировна Зернова, урожденная Лаврова, сестра Николая Михайловича, Софья Михайловна Зернова, самый заме-

чательный и одаренный член этой семьи. Я в нее буквально влюбился, она стала моей любимой героиней. Другая сестра, Марья Михайловна Кульман, урожденная Зернова, и брат Николая Михайловича Владимир Зернов, врач, проживающий в Швейцарии.

Книга начинается иллюстрацией: Храм Христа Спасителя. И далее на вас смотрит простое лицо, задумчивое и строгое, типично русское, белобородого старика протоиерея отца Степана Зернова, родоначальника семьи.

Тяжел был путь отца Степана, этот путь был буквально от "терний к звездам". Он родился в семье опального сельского диакона Владимирской губернии, разжалованного в псаломщики, но окончил жизнь в звездах, настоятелем одного из центральных храмов столицы, Николая Явленного на Арбате, благочинным Пречистинского Сорока, одного из центральных районов Москвы\*, увешанный в буквальном смысле звездами, высшими орденами Российской Империи, которые давали его детям право на потомственное дворянство, и отцом известного московского врача.

"Ваш дед в детстве и молодости испытал такие лишения, о которых теперь никто не знает, — писал его сын, — он прошел школу жестокой бурсы, со всеми наказаниями и обязательными побоями. Он был глубоко верующим, бескорыстным и богато одаренным человеком. По тогдашнему времени он

---

\* Сороком назывался благочиннический район Москвы, включавший сорок храмов.

считался очень образованным священником, так как прекрасно знал древние языки и говорил на них. Главной его особенностью, помимо самой искренней религиозности, было строгое отношение к себе, но также и к другим, смягчавшееся всепрощением и любовью к своей пастве. Благодаря этому он пользовался большой популярностью в Москве". ("На переломе", стр. 13).

Отец Степан дожил до 69 лет и умер такой смертью, какую может пожелать себе всякий христианин: во время литургии, у престола, в облачении, тотчас после того, как принял святое причастие. Царство Небесное старцу!

И наконец, семья Зерновых. Зерновы могут быть благодарны своему предку. Благодаря его трудам, его жизни в столице, они стали привилегированными людьми, они зажили в полном смысле этого слова райской жизнью.

Первые главы книги "На переломе", принадлежащие в основном Николаю Михайловичу, очень напоминают Сергея Тимофеевича Аксакова, его семейную хронику: тот же неторопливый, очень правильный стиль спокойного, ничем не возмутимого повествования. И такая же, как там, спокойная, тихая блаженная жизнь, в довольстве, в уюте, в идиллических отношениях друг к другу – это, кажется, характерно для Николая Михайловича: не замечать и не понимать жизненных диссонансов, трагичности людского существования.

Потом рассказ родителей о служебной деятельности доктора Михаила Степановича Зернова. Он

был озабочен положением в группе Минеральных Вод, очень много сделал для устранения там недостатков, для того, чтобы стала эта местность одним из самых замечательных курортов Европы. Он же был, по существу, первооткрывателем и другого русского курорта, Сочи, который сейчас вырос в один из самых великолепных курортов мира, а тогда был жалкой северокавказской деревушкой. Так, между спокойной московской жизнью зимой, летними поездками на курорты проходила жизнь Зерновых.

И вдруг — трах! Удар молнии, гроза: революция!

В книге великолепно отражена революционная ситуация, когда в тихую, спокойную жизнь врывается неожиданно и негаданно революция. И жизнь перевернулась, хаос, сумасшедший дом.

”Не слышно шуму городского,  
Над Невской башней тишина,  
И больше нет городского,  
Гуляй, ребята, без вина.

Стоит буржуй на перекрестке  
И в воротник упрятал нос,  
А рядом жметя шерсткой жесткой,  
Поджавши хвост, паршивый пес.

Стоит буржуй как пес голодный,  
Стоит буржуй, как пес голодный,



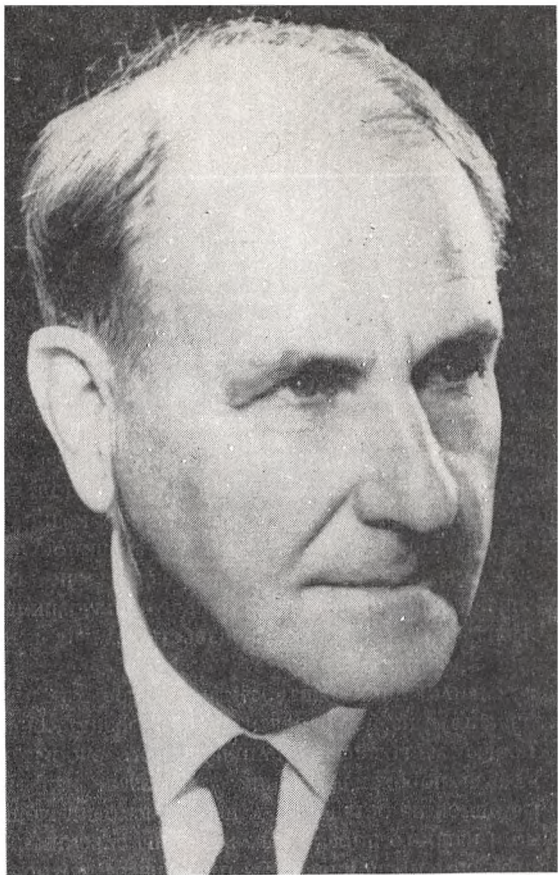
И старый мир, как пес безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост”.

(А. Блок. ”Двенадцать”, го. 9)

И это происходит не только под Невской башней, в Питере, но и под Сухаревской башней в Москве, первопрестольной столице, и революция приходит в особняк между Арбатом и Поварской, в дом либерального врача, гласного Городской Думы Михаила Степановича Зернова. И в ответ недоумение, растерянность, молчание, стоит... безмолвный, как вопрос.

В книге Революция показывается многократно, как ее воспринимают молодые члены семьи Зерновых. Отсюда частое возвращение к одной и той же теме. Вернемся и мы опять к теме революции.

Когда-то, 48 лет назад, будучи молодым учителем начальной школы, я попросил старшего коллегу, учителя литературы 10-го класса, разрешение побывать у нее на уроке, она позволила мне как будущему учителю литературы. Помню этот урок. Разбиралось ”Детство. Отрочество. Юность” Льва Николаевича Толстого. Учительница, Вера Викторовна Чекина, бросила интересную мысль: ”Николенька Иртеньев — типичный мальчик своей среды, со всеми характерными для этой среды достоинствами и недостатками, с обычными для нее суетными интересами. Но приглядитесь к нему, и вы увидите нечто необыкновенное: склонность к самоанализу, обостренную наблюдательность, большую совесть”. Нечто подобное можно сказать о Коле Зернове. Это ти-



*Николай Михайлович Зернов*  
*1898 - 1980*



пичный мальчик из московской интеллигентской семьи начала века. Но есть нечто особое — мистическая одаренность, ощущение скрытых, таинственных миров: "Кроме страха потерять моих близких, я испытывал встречу со страхом, рождавшимся из глубины себя сознающего существа, брошенного в безбрежный и безразличный к нему мир. Этот ужас незащищенного бытия вспыхивал во мне в самые неожиданные моменты, но днем он все же обычно скрывался в тайниках души, зато ночью он выходит наружу, и я с трепетом ожидал приближение сумерек. Мрак и молчание были той средой, в которой ужас мог подходить ко мне вплотную, когда он говорил мне что-то своим беззвучным языком и касался меня своей невидимой рукой. Стоило мне войти в темную комнату, я знал, что там найду моего таинственного незнакомца — я не связывал его ни с каким конкретным образом и не боялся ни чертей, ни леших, ни привидений — в детстве ими нас никогда не пугали. Я бы назвал теперь свои детские переживания встречей, но не с силами зла, а, наоборот, с косностью, с тем огромным всеохватывающим и все в себе несущим процессом, — невольным и беспомощным участником которого является человек".\*

И эти недетские переживания, видимо, были свойственны всему новому поколению семьи Зерновых.



---

\* Там же, стр. 153.

Следующая глава называется "Трудная четверка" и начинается с констатации: "Мы четверо были трудные дети, в нашей доме не уживались немки-гувернантки". (Стр. 156)

И склонность к мистическим углубленным переживаниям особенно ярко выразились у Софьи Михайловны Зерновой, наиболее талантливой и во всех отношениях замечательной представительницы этой семьи. Еще в раннем отрочестве у нее начинается глубокий религиозный кризис: "Я находилась в религиозном кризисе, — пишет Софья Михайловна, — Он начался давно, когда мне было двенадцать лет; до этого я верила по-детски, по утрам и вечерам мы молились все вместе... Кончилась моя детская и наивная вера. Я говорила себе: Я хочу быть честной, или я верю всегда, или я не верю; тогда я не смею ни идти в церковь, ни молиться, ни просить у Бога помощи".

В двенадцать-тринадцать лет это были лишь неясные мысли, но в четырнадцать лет я решила, что в Бога я не верю... Я решила, что буду спрашивать каждого, кого я встречаю, верит ли он в Бога или нет. Летом в Ессентуках я подошла с этим вопросом к Константину Сергеевичу Станиславскому. Он вдруг сделался совсем серьезным и, посмотрев мне пристально в глаза, сказал: "Я верую в Господа Бога, но научить Вас верить не могу, молитесь, чтоб Бог послал Вам веру". (стр. 211,212,213).

Примерно такой же ответ дал Софье Михайловне Зерновой и известный религиозный философ Лев Михайлович Лопатин. И разговор с учителем ма-

тематики: "Однажды за одним из уроков он заговорил со мной о бесконечности: "У Вас есть друзья?" — спросил он потом. "Да, но не настоящие: они не могут мне дать того, что я ищу". — "А что Вы ищете?" — "Что я ищу? Ищу, вероятно, то, о чем вы сегодня говорили, ищу бесконечности", — сказала я. Он весь загорелся от моих слов. "Вы Бога ищете, — говорил он, — я знаю, вы Бога ищете. Только Бог может утолить эту жажду, только Бог..."

Наступила весна, мы уезжали на Кавказ, я грустила". (стр. 215).

И этим грустным аккордом оканчивается повествование Софьи Михайловны о ее детских исканиях. А в их семье продолжалась на редкость интересная и счастливая жизнь: Кавказ, Ессентуки, у них за их гостеприимным столом весь Художественный Театр: — Станиславский, Книппер-Чехова, Качалов. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова делает ей комплимент, потихоньку говорит о ней матери: "Очень хороша!" Станиславский пишет в своем дневнике о детях Зерновых: "Она совершает с Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, вдовой Антона Павловича Чехова, длинные прогулки. Жизнь веселая, многогранная, она исключительно красивая девочка, прекрасно воспитанная, не по летам развитая, читает запоем Достоевского, ищет, всем интересуется. И... революция, все рухнуло в неизвестность.

Знаменитый русский иерарх, один из трех кандидатов на патриарший престол на Соборе 1917 года, Митрополит Новгородский Арсений говорил: "Нас упрекали священники за то, что мы в Синоде не да-

вали указания о том, что надо делать. Но что можно посоветовать, когда корабль перевернулся вверх дном?\*

Жизнь действительно перевернулась вверх дном. И мы опять возвращаемся к тому же: как была воспринята революция семьей Зерновых. Сам Николай Михайлович Зернов констатирует: "Описание Революции и гражданской войны даются в этой части хроники так, как они были пережиты молодым поколением семьи Зерновых. Их кругозор в то время был ограничен их личным опытом, однако их настроение, их восприятие событий той переломной эпохи были созвучны широким кругам гимназической и студенческой молодежи, в значительном числе влившейся в ряды Белой армии...

Правильный подход к революции может быть найден в связи со всей сложной историей России, с грехами ее прошлого и искажениями настоящего времени. Даже и теперь не настал еще момент для всестороннего исследования и оценки того глубокого переворота в жизни страны, который повлек за собой море страданий, бесчисленные жертвы, и на долгие годы расколол на два враждебных лагеря население бывшей империи" (там же, стр. 264).

Надо сказать, что Николай Михайлович Зернов о событиях революции и до самого последнего времени имел довольно смутное представление. Это видно по тем анахронизмам, которые то и дело встречаются на страницах воспоминаний. Например,

---

\* См. Новгородские Епархиальные Ведомости за 1918 г.

на стр. 266 имеются следующие строчки: "В то время мы имели лишь смутное представление о сущности ленинизма, но мы сознавали, что победа III-го Интернационала означала не только измену союзникам, но и существенную поддержку Германии". (там же, стр. 266). Здесь, по меньшей мере, в одном предложении два анахронизма: термин "ленинизм" появился не ранее 1926 года, впервые в книге Григория Евсеевича Зиновьева "Ленинизм", впоследствии в брошюре Сталина "Об основах ленинизма". Что же касается III-го Интернационала (Коминтерна), то он был основан только в 1919 году, через два года после Октябрьской революции и через год после окончания войны и победы союзников над Германией. Такие ляпсусы встречаются буквально на каждом шагу — о самой революции, о солдатах, воткнувших штык в землю, о рабочих, сеющих ненависть к буржуазии.

На стр. 267-ой рассказывается о том, как Николай Михайлович Зернов был однажды вызван в медицинскую комиссию: "В 17 лет у меня была малярия, осложнившаяся началом туберкулеза. На этом основании я был теперь объявлен медицинской комиссией непригодным к военной службе. Пришлось утро провести в каком-то холодном бараке, набитом солдатами, всюду сидели военные писаря, что-то писавшие, склонившись над некрашенными столами. Мне приказали раздеться до пояса и стать в очередь. Лысая голова знакомого военного врача склонилась надо мной, к телу прикоснулся его холодный стетоскоп, я сразу же услышал приказ выдать мне белый билет". (Стр. 267).



А как бы вы себя чувствовали бы, многоуважаемый Николай Михайлович, если вам пришлось провести в "в каком-то холодном бараке" не одно утро, а целые четыре года, и не в холодном бараке, а в ледяных окопах, да еще под непрерывным обстрелом, и под командой не знакомого врача, а грубых фельдфебелей, бывших морды солдатам, ругающих их матом невесть зачем и почему, — так не торопитесь осуждать солдатню.

Другой движущей силой революции Н.М.Зернов не без основания считает т.н. полуинтеллигенцию. "Мы же, молодежь, большой компанией отправились в Сочи... Мы любовались видами на море и горы, радовались жаркому солнцу и забыли о войне и революции. Это было наше последнее путешествие в мирной обстановке по России. Кончилось оно, однако, встречей с представителем того класса, который крепко и надолго поработил миллионы русских людей. На одной из остановок к нам подскочил молодой железнодорожный техник. С глазами, налитыми кровью, задыхаясь от душившей его злобы, он стал извергать на нас отвратительную брань, крича, что нас следует уничтожить как паразитов, как прислужников капиталистов.

Нападение совершенно неизвестного нам человека ошеломило нас, мы растерялись и не могли ничего ему ответить. Он исчез так же быстро, как и появился. Мы поняли, однако, что это столкновение было не случайно, мы встретились лицом к лицу с очень важным явлением: завистью и злобой полуинтеллигента к представителям культурной элиты. На-

павший на нас техник ненавидел нас, так как мы принадлежали к не доступному для него миру, который он хотел уничтожить и поработить". (Там же, стр. 250).

Это очень характерное место. Наблюдательный и вдумчивый Николай Михайлович правильно констатирует явление, он, однако, слаб в анализе: он не спрашивает себя, почему, в чем причина этого явления?

Прежде всего о термине "полуинтеллигенция". Почему она все-таки "полу-"? Она глупее и неспособнее настоящей интеллигенции? Этому трудно поверить. Сам Николай Михайлович говорил, что она насчитывает миллионы людей в своей среде. Не может же быть, чтобы среди них не было умных и талантливых людей. Так в чем же дело? Ответ мог быть только один: у них не было умных и удачливых дедушек, которые сумели пробиться к протоиерейскому сану, к звездам, орденам, к потомственному дворянству, у них не было богатых пап, получивших медицинское образование, имевших особняки у Арбата и сумевших дать детям великолепное образование. Они, наконец, не имели в детстве немок-гувернанток и не имели возможности наслаждаться чудесной игрой и личным общением с великими режиссерами и артистами: Станиславским, Качаловым и Книппер-Чеховой.

Далее Николай Михайлович говорит: "Ленинская диктатура нашла среди этой полуинтеллигенции своих самых редкостных и исполнительных прислужников". (Стр. 250-251).

При этом следует отметить: из поля зрения Николая Михайловича непостижимым образом выпали эсеры, меньшевики, народные социалисты, анархисты — недоучившаяся, взбудораженная, оппозиционная, как сейчас говорят, диссидентская полуинтеллигенция.

Как отразились революционные события на психологии членов семьи Зерновых? Прежде всего это была полная растерянность. С другой стороны, у молодых членов семьи Зерновых революция вызвала усиление религиозных настроений. Это характерно для интеллигенции этого времени. Вот что пишет об этом известный церковный деятель этого времени: "В церковной жизни увеличивается религиозность, массы новообращенных заливают дворы Господни. И отчасти здесь вспыхивает подлинное религиозное состояние духа, появляется забота о нравственности, возрождении души, чему способствует благодать таинств". (Протоиерей А.Введенский, "Церковь и государство. Очерк взаимоотношений 1918-1922 г.г." Москва, 1923 г., стр. 239).

И в другом месте: "Здесь я должен коснуться весьма важного момента в жизни Церкви наших дней, прилива в нее новых сил, в частности, интеллигенции. После революции в Церковь вошло великое множество людей: мы увидели в Церкви таких, которые при встрече с нами плевались, таких, которые при нас, священниках, по-французски говорили: "Заплатите ему за требу", полагая, что где же священнику говорить по-французски... Вошли люди, которые глубоко презирали нас и которые потом

стали целовать нам руки. Что это такое? Здесь явление двоякого порядка. Несомненно, в душах многих произошел нравственный переворот: лишившись власти, блеска, почестей, денег, переживая горькую нужду, которую раньше эти люди не хотели замечать около себя рядом, эти люди нравственно очищались, и с ними происходило то, что Вильямс Джеймс называет религиозным обращением... Но таких мало, такие люди, обретшие Христа, конечно, позабыли бывшее величие и славу, им все это не только не нужно, но, более того, чуждо и опасно для души. Но это трудно, это редкость, и обращение это искренно ли?

По поводу таких обращений в свое время профессор Андрей Фадеевич Зелинский, известный знаток античного мира, писал в "Речи": "Наша интеллигенция возвращается в церковь — худо это или хорошо? Я всегда верил в католическую церковь, и для меня радостно, что новые люди входят в ограду Господню.

Но я вспоминаю польскую пословицу: "Когда плохо, то до Бога"\*

В семье Зерновых, где религиозная традиция была жива всегда, возрождение религиозных чувств было, конечно, искренним и глубоким. Вокруг Николая Михайловича собирается в это время в Москве кружок религиозной молодежи, у них стремление к православию; преподобный Серафим Саровский становится их любимым святым, покровите-

---

\* Протоиерей А.И.Введенский "Церковь Патриарха Тихона", Москва. 1923 г. Стр. 71-72.

лем и наставником. И конечно, религиозным пламенем охвачены сестры — Софья Михайловна и Марья Михайловна, тогда еще Сонечка и Манечка.

Среди растерянности и паники, охвативших семью, они всегда обнаруживали смелость и принципиальность, чувство достоинства. В этом отношении очень интересен рассказ Марьи Михайловны Зерновой-Кульман, относящийся к первым дням после Октябрьской революции: "Через несколько дней после их победы в нашу квартиру ворвался еврейского вида юноша в кожаной куртке с огромным револьвером в руках. Его сопровождали два русских солдата с винтовками и несколько растерянными лицами. Комиссар вел себя самым угрожающим образом: он махал своим револьвером, подставляя его к лицу папы и мамы, и требовал от нас сдачи всего оружия. Мама была сильно напугана, я же, наоборот, была возмущена его поведением. У меня был маленький револьвер, я быстро спрятала его за радиатор нашего отопления. Мои родители заметили мой поступок и пришли в панику. Меня охватило такое негодование, что я бросилась на комиссара и стала кричать на него: "Как вы смеете угрожать нам? Вы дурак! Сейчас же уходите отсюда!" Комиссар был так ошеломлен, что он сразу же потерял свою самоуверенность и так же быстро ретировался из нашей квартиры, как и ворвался в нее. Я чувствовала себя настоящей героиней". ("На переломе", стр. 280).

Через некоторое время семья Зерновых покидает родную Москву. Едут на юг проторенным сле-

дом, в группу Минеральных Вод, где доктор Зернов является популярной личностью.

И в дороге снова приключение, и опять дочери; на этот раз очень ярко очерчивается характер старшей дочери, Софьи Михайловны.

Путь в Ессентуки. Поезд, переполненный солдатами, враждебными, кровожадными. Кажется, это люди с другой планеты. В набитом купе. Далее я передаю слово Софье Михайловне: "В купе стояла невыносимая духота, я сижу на верхней полке и плачу. Наступила ночь, но никто не может заснуть, все молча прислушиваются к стукам и скрипам колес. Вскоре моему младшему брату делается дурно. Его прыскают водой, приводят в чувство, моя мать просит меня отвести его на площадку, где больше воздуха. В коридоре сплошной стеной лежат солдаты, я иду по ним, ступая на их ноги и спины и животы, пробираемся на площадку, жадно дышим холодным воздухом.

Вокруг нас сгрудились солдаты. Мы стараемся не смотреть на них, мне хочется скорее уйти. Один из них стоит рядом со мной и смотрит на нас со злобой, у него широкая борода с проседью, он самый старый из них.

Вдруг он начинает говорить: "Буржуи! В первом классе путешествуете? Не надолго это — прошли ваши времена. А это что же — братец твой, что ли? Пришли воздухом подышать, али к духоте не привычны? Теперь уже не тот первый класс, что раньше был, но скоро всех вас заставим в третьем классе ездить, и землю пахать всех заставим, а то,

верно, братика своего наукам обучать хотите. Но это все теперь ненадолго”.

Я сперва молчала, смотрела куда-то в сторону и думала о том, как бы нам поскорее уйти. Но потом я набралась смелости и стала с ним говорить. Я сказала ему, что мы не боимся путешествовать в третьем классе и не боимся землю пахать. Но я знаю одного Андрюшку-пьяницу, он всегда пешком ходит, он, наверно, захочет, чтоб все тоже пешком ходили. Я сказала ему, что хочу, чтоб в России была такая жизнь, чтоб все в первом классе путешествовали, что мой брат хочет быть доктором, как его отец, что если бы его сын заболел, то мой брат приехал бы его лечить. И это тоже надо, как и пахать землю.

Он слушает меня внимательно и серьезно и молчит. Я долго говорю ему о том, как надо переменить жизнь, чтоб всем было хорошо и совсем не было важно, кто крестьянин, кто дворянин или купец, все мы одинаково русские люди, и Россия принадлежит всем нам. Когда я кончила говорить, он вдруг повернулся ко мне и сказал: ”Барышня! Не побрезгуйте, пожмите мою мужицкую руку”, — голос его звучал растроганно и мягко. Я протянула ему руку, и она потонула в его жесткой ладони. ”Товарищи! — крикнул он, — А ну-ка, встаньте, пропустите пройти”. Солдаты, лежащие в коридоре, стали вставать, сторониться, прижиматься к стенам, чтоб пропустить нас.

На следующий день на каждой остановке мой новый друг приносил нам чайник с кипятком”. (”На переломе”, стр. 274-275).

И дальше скорбное повествование о том, как добралась семья до Минеральных Вод, как переходила там власть из рук в руки: белые, красные, опять белые, и опять бегство — в независимую Грузию, но потом опять бегство, когда оказалась эфемерной грузинская независимость, и опять бегство, и опять, и опять, пока не добрались до Константинополя. Много трудностей, невозможных трудностей, и подвиги Софьи Михайловны, сестры милосердия, и невероятные опасности — потрясающий человеческий документ.

Каждый непременно должен прочесть эту книгу. И снова о психологии авторов.

Красные всегда рисуются в дьявольском, кровавом освещении, это чудовища, не люди. А белые офицеры — чудесные мальчики, нежные страдающие, лиричные, эстеты и мечтатели.

(Гм! Гм! Эти эстеты и мечтатели, как известно, тоже очень неплохо умели расстреливать и вешать безоружных, и грабить. Особенно этим отличались офицеры и солдаты генерала Кутепова, гостьей которого была Софья Михайловна, и генерала Шкуро, которого она тоже знала. Эти же эстетствующие мальчики при взятии деревень снимали с мужиков портки и устраивали массовые порки шомполами — процедура, нельзя сказать, что очень эстетическая.)



И, наконец, рассуждения Николая Михайловича о судьбах России, о Советской власти, о Ленине и Троцком. Эти рассуждения поражают своей наивно-



стью и предвзятостью. Прежде всего Николай Михайлович ставит знак равенства между совершенно разными явлениями. Невольно вспоминаются слова епископа, впоследствии Митрополита и Патриарха, Сергия об одном из православных богословов: "Он пишет о католичестве так, как будто все полторы тысячи лет был один и тот же Папа". (См. "Лекции по сравнительному богословию, читанные в Петербургской Духовной Академии Епископом Сергием 1902-1903 уч. г."). Так и Н.М.Зернов пишет о 64-х годах Советской власти, как будто все это время стояло в Кремле у власти одно и то же лицо.

В этом он, между прочим, неожиданно совпадает с официальной советской историографией, которая как раз доказывает это самое: Ленин умер, но дело его живет.

Ведь все было совершенно не так. Прежде всего Ленин и Троцкий были революционерами, они задавались целью свергнуть буржуазно-феодальный строй и основать на его месте, а не уничтожить, новую Россию. Они сделали для простого народа много, иначе бы он их не поддерживал, не такой уж он дурак, уничтожили все привилегии для дворян, буржуа, богатеев, дали землю крестьянам, 8-часовой день рабочим (одни из первых в Европе), открыли для простецов двери школ, институтов, университетов.

Они были жестоки, беспощадны, но ведь и белые были не лучше: расстреливали, вешали, пороли. Ленин сам только случайно не был убит (кстати сказать, стреляла в него типичная полуинтеллигент-

ка — героическая Фаня Каплан как раз в то время, когда культурнейшие Зерновы ехали на Кавказ), а его соратников убивали пачками.

И о личности Ленина: прежде всего никогда Ленин не претендовал на непогрешимость, с ним и спорили, и дискутировали, и никого за это он не убивал и не карал, а лишь опровергал (рабочая оппозиция Шляпникова, Коллонтай, Рязанов, еще раньше Зиновьев и Каменев, да и его ближайший соратник Троцкий). И в то же время он глубоко ошибался. Ленин — трагическая личность, который к концу жизни многое понял. И отсюда мрачные, окутанные тайной последние дни Ленина. Прежде всего он понял, что материалистическая философия, которую он с таким жаром отстаивал всю жизнь, не может быть опорой в тяжелые минуты. И отсюда его отчаяние, просьба дать яд, судорожные попытки уцепиться за что-то, тайная беседа с Епископом Трифоном.

И наконец, ирония судьбы: самый лютый враг государства, давший в "Государстве и революции" сокрушительный анализ самой идеи государства, стал основателем самой ужасной государственной машины. Он это понял, но уже ничего не мог сделать, подобно волшебнику, вызвавшему дух из бутылки, он не мог с ним справиться. И умер пленником созданного им чудовища, от которого он не мог защитить даже свою жену.

И таков же путь Троцкого. Он все, что испытывал Ленин в свои предсмертные мгновенья, понял и сформулировал при жизни. И отсюда его констатация термидорианского перерождения советского го-

сударства и перманентная революция во всемирном масштабе как единственный выход из тупика.

Трагический конец Троцкого, пережившего самоубийство дочерей и убийства сыновей и убитого сталинским наймитом, общеизвестен.

В чем различие между Сталиным и его преемниками, с одной стороны, и Лениным с Троцким, с другой? Прежде всего в том, что Ленин и Троцкий были великими революционерами, потрясшими здание старого мира, а Сталин и его преемники — меньше всего революционеры. Это крайние консерваторы, реакционеры аракчеевского типа, которые являются представителями нового класса — класса грабителей и угнетателей простого народа. И их последователей ждет, быть может, ужасная участь: революция, которая сметет их власть и развеет их имена под вечно новыми и вечно молодыми лозунгами: "Земля и воля!", "В борьбе обрешь ты право свое!"

## ОКНО В ЕВРОПУ

Следующая книга Зерновых называется "За рубежом". Это тоже большой человеческий документ. Семья Зерновых чисто русская. Они глубоко православные люди. Преподобный Серафим Саровский — их духовный руководитель и молитвенник. Больше того — их знамя. Николай Михайлович, в противоположность своим родителям, либеральным

интеллигентам, был человеком весьма правых убеждений. Достаточно сказать, что его настольной книгой была книга печально знаменитого Нилуса "Великое в малом". Правда, Нилус также был очень противоречивой личностью. Наряду с гнусной фальшивкой — "Протоколы сионских мудрецов", которые ему продал какой-то французский прощелыга, он в своей книге помещает действительно интересный материал — записки Н.А.Мотовилова, лично хорошо знавшего преподобного Серафима. Тем не менее как-то коробит, когда интеллигентный человек упоминает в хвалебном контексте имя прохвоста или полусумасшедшего маньяка Нилуса.

И вот они в Европе. И здесь совершается чудо, весьма редкое в русской эмиграции: москвич преображается в европейца. Представитель квасного православия становится экуменистом.

Тут надо сказать о двух опасных христианских ересьях последнего времени, которые условно можно назвать масонствующей ересью и ересью сепаратистской. Масонствующая ставит знак равенства между всеми христианскими и даже нехристианскими исповеданиями. Для них, как для Луки из пьесы Горького "На дне", ни одна блоха не плоха. Крайним выражением этого мировоззрения является так называемый "бухманизм" — организация морального перевооружения, основанная пастором Бухманом, — объединяющая католиков, протестантов, буддистов, индуистов на основе "Десяти принципов" Бухмана.

Христианство с его спецификой совершенно

тонет в этом море религиозного эклектизма. Становится совершенно непонятно, зачем приходил Христос, если и без Него так хорошо все можно устроить.

Другая крайность — ересь сепаратистская, от которой веет замшелым провинциализмом. Этот еретический строй мысли особенно силен в русском эмигрантском православии, а также на окраинах православного мира, например, на Афоне. Если бухманистско-масонская ересь страшно раздвигает границы христианства, до того раздвигает, что сам Христос оказывается лишь одним из многих, то провинциалы-сепаратисты страшно сужают христианство: Христос для них делается лишь наставником какого-то незначительного согласия или толка. Так, в католической церкви, по их мнению, отсутствует благодать Таинств, то есть, Христос, обидясь на Пап за их притязания, лишил благодати общения с Ним миллиарды людей, среди которых были и святые и праведные, и истинные угодники Божии.

На византийских императоров и русских самодержцев, как, например, на Петра I, за их притязания быть главами церквей Он почему-то не обиделся. И отсюда совершенно дикое учение о том, что католики лишены благодати Таинств, и совершенно изуверское мнение, что католиков надо перекрещивать. К чести многих зарубежных иерархов, это постановление Зарубежного Собора очень редко применяется на практике.

Я всегда был и остаюсь православным христианином. В этом вопросе я полностью стою на точке зрения, сформулированной Патриархом Сергием.

В 1931 году в Журнале Московской Патриархии были напечатаны его статьи о Церкви и о Таинствах, в которых он говорит о том, что свет никогда мгновенно не переходит в тьму, есть множество переходных ступеней. Поэтому благодать по Милости Божей присутствует во всех деноминациях, хотя и в разной степени.

Этой точки зрения всегда придерживалась и русская православная церковь. Поэтому с восемнадцатого века в ней никогда не практиковалось ни перекрещивание людей, приходящих в православие от западной Церкви, ни перерукоположения католических и униатских священнослужителей. В случаях, когда человеку грозит смерть, православная русская церковь допускает и причащение от руки католического священнослужителя.

Михаил Николаевич Зернов очень много сделал для сближения православных с англиканами. В этом он опирался на благословение и поддержку великого русского богослова о. Сергия Булгакова.



Итак, "За рубежом". Первая страница. "Встреча с новой страной". Белград — славянский, близкий, но все-таки чужой.

Первое повествование. Собор зарубежной церкви в Карловцах 21 ноября — 2 декабря 1921 года.

Незадолго до смерти Николай Михайлович заметил, что он единственный оставшийся в живых член Собора. Теперь уже и его нет в живых. Тем более необходимо разобраться в значении этого Собо-

ра. На первый взгляд может показаться, что этот Собор уже настолько далеко ушел в прошлое, что нет никакого смысла им заниматься.

Но так только на первый взгляд. Быть может, во всей истории Русской Церкви не было Собора, который и в наши дни был бы в такой мере актуален, как этот многими оспариваемый, не вполне каноничный Собор.

Прежде всего, это первый Собор после 1917-18 годов, когда отцы Собора могли говорить вполне откровенно, не боясь ни чекистов, ни государственных чиновников. Далее — это тот собор, который определял будущее Церкви после революции надолго, быть может, на века.

Здесь было две линии.

Первая линия. Старообрядческая. Если можно так выразиться — "нестарообрядческая". Держать линию на старину, застыть в своем обожании старой России — династии Романовых. Когда-то Николай Александрович Бердяев писал, что еще на Соборе 1917-18 годов в Москве его поразила "атмосфера чайных Союза Русского Народа". Как известно, Собор 17-18 г.г. во время корниловского мятежа собирався приветствовать генерала — вождя восстания, и только быстрая ликвидация мятежа предотвратила этот политический акт.

В эмиграции, однако, черносотенцы на Соборе 1921 года полностью распоясались. Достаточно сказать, что руководящей фигурой был здесь пресловутый Марков II-ой, мирянин, бывший депутат Четвертой Государственной Думы. Крайний черно-

сотенец, от которого сторонились даже наиболее порядочные люди из монархистов. Скандалист, дебошир, известный своими хулиганскими выходками. И вот этот погромщик неожиданно занял чуть ли не одно из первых мест на Соборе.

Известен эпизод с изгнанием с Собора столь почтенного и весьма умеренного человека, как последний председатель Государственной Думы М.В.Родзянко. Николай Михайлович очень проникновенно описывает этот безобразный инцидент. Но если на Соборе в основном взяла верх эта черносотенная, крайне реакционная монархическая линия, то, к чести Собора, была там и другая линия, которая чуждалась политики и которая была на страже евангельской истины. Вождем этой линии был тогда еще молодой Вениамин Федченко. Николай Михайлович тотчас примкнул к его группе.

Главным предметом спора была резолюция с призывом к восстановлению династии Романовых. Спор, однако, протекал на гораздо большей глубине. Какую позицию должна занять церковь перед лицом революции? Позицию блюстителей старины — типа протопопа Аввакума, боярыни Морозовой и т.д. — или позицию, основывающуюся на чисто евангельском восприятии событий?

Николай Михайлович дает четкую и ясную формулу этого исторического момента. "В свете последующих событий борьба, разыгравшаяся на Соборе, представляется политически бесплодной, но не такой казалась она тогда ее участникам. Члены Собора верили, что их голос дойдет до России и найдет там широкий отклик.



Не они одни тогда находились в мире иллюзий. Это же случилось и с руководителями Церкви в самой России.

Послание Патриарха Тихона (1865-1925) тоже писалось с надеждой, что церковный народ может отстоять свои святыни и защитить свободу веры от безбожных захватчиков власти. История показала необоснованность этих ожиданий, но она вскрыла также наивность Ленина и его соратников, думавших, что "конфискация церковного имущества, уничтожение любимых народом иерархов, а главное, их антирелигиозная пропаганда приведут к быстрому и окончательному исчезновению христианства". ("За рубежом". Париж. 1973 г., стр. 20).

Впрочем, нельзя сказать, что отцы Собора, державшиеся крайних взглядов, были уж настолько наивны. Они перекликались с известными слоями населения в России. "Влияние Карловацкого Собора на русскую церковь несомненно, хотя официальные представители церкви всемерно его отрицали. Ведь там сказали то, что здесь не смели даже думать", — писал через два года после Собора известный деятель тех дней. (Протоиерей А.Введенский, "Церковь и государство". Москва. 1923 г., стр. 245). К чести Николая Михайловича, он не присоединился к этой крайней части Собора, получившей явный перевес.

И здесь мы видим резкий перелом в его настроениях: недавний читатель и почитатель Нилуса становится на сторону церковных либералов. Отцовская, семейная либеральная закваска оказалась сильнее наносных, искусственных идей. "Я принуж-

ден был признать, что крайние правые и крайние левые часто столь похожи друг на друга, что их можно назвать близнецами. Главное, чему меня научили Карловцы, было знание, что мнение большинства, даже на церковном собрании, не является гарантией истины, и что высокие принципы часто скрывают другие мотивы: личные выгоды, соперничество и обиды.

После Карловацкого Собора я освободился от наивной идеи, которую я разделял со многими моими сверстниками, что революция была делом масонского заговора, и что главная вина за гонения на христиан лежит на евреях. Я был поражен той злобой и нетерпимостью, которую я встретил среди людей, называвших себя защитниками церкви и верными служителями самодержавия.

Я уехал из Карловац умудренным и многому научившемся. Моя дальнейшая церковно-общественная работа получила свое основание в опыте, пережитом на Соборе". (Там же, стр. 22).

Затем описание кружка эмигрантской молодежи в Белграде. Поражающая своей искренностью трепетная повесть о том, как русская молодежь постепенно (сначала робко и нерешительно, а потом полным ходом) выходит на широкие мировые просторы. Первая молодежная религиозная конференция, встречи с англиканами и с немецкими протестантами в Суонике. "Карловацкий Собор 1921 года раскрыл передо мной сложную канву церковно-политической борьбы. Суоник поставил меня лицом к лицу с более трудными вопросами церковных разделе-

ний. Мой юношеский прямолинейный монархизм и православная нетерпимость столкнулись с жизнью, и она потребовала серьезного пересмотра позиций.

Я еще не успел осмыслить до конца мой новый опыт, но уже знал, что мы, православные, сможем найти искренних друзей среди западных христиан, и что мы и они нуждаемся во взаимной поддержке. Здесь, на берегу быстро мчавшегося потока, я впервые начал сознавать, что задача нашего поколения — примирение христиан Востока и Запада. Перевернулась страница моей жизни". (Там же, стр. 48-49).

Это старт. Далее следует описание многогранной деятельности Николая Михайловича.

Эта деятельность прежде всего экуменическая. Каковы сильные и слабые стороны этой деятельности? Сначала о слабых сторонах. Прежде всего, деятельность Николая Михайловича протекала, в основном, в Англии. В этой чудесной стране, всегда умевшей соединять несоединимое: ультрасовременные идеи и верность старым традициям, деловитость и сентиментальность, буффонаду и серьезность. Только побывав в Англии, увидев молодежь с волосами, выкрашенными в синий цвет, в причудливой одежде, я понял, почему у Шекспира уживаются самые глубоко трагические сцены с буффонадой, откуда эти странные, порой раздражающие, порой поражающие шекспировские шуты.

Соединение англиканской церкви с православием — безусловно, важнейшая историческая задача. Но главная линия проходит все-таки не здесь. Глав-

ная линия — это соединение католической и православной церквей. Пока Церковь разорвана "с верхнего края до нижнего", вряд ли возможны заплаты в виде соединения поместных церквей. Это лучше всего и больше всего понял Владимир Сергеевич Соловьев, мимо которого как-то странно прошел Николай Михайлович, не совсем понятно, почему.

О взаимоотношениях с католиками у Николая Михайловича очень мало. И в этом недостаток его экуменизма. Психологически это понятно: его деятельность протекала в "доиоанновский" период — в ту эпоху, когда католическая церковь не пережила еще великий переворот, связанный с именами Пап Иоанна XXIII, Павла VI, Иоанна-Павла II. Однако в остальном деятельность Николая Михайловича и рассказ о ней заслуживает самого пристального внимания.

Литературная манера Николая Михайловича осталась та же, "аксаковская", как и та, с которой он повествовал о своем детстве: медленно, не спеша, обстоятельно и беспристрастно он рассказывает нам о всех этапах своего жизненного пути.

Вот он в Пшерове летом 1923 года, на конференции, где родилось христианское студенческое движение, которое на протяжении вот уже полувека (под разными названиями — знаменитая ИМКА) является главным очагом русской культурной жизни за границей. Вот он вводит нас в Чехословакию двадцатых годов — "в большой зал с вычурной резьбой обшитых деревом стен, с массивной мебелью, с нишами и узкими окнами. К этой готической обста-

новке мало подходили плохо одетые и скорее с недоумением разглядывавшие друг друга делегаты". (Стр. 97).

Интересны и необыкновенно колоритны образы руководителей движения: "Булгаков приковывал к себе всеобщее внимание своей замечательной наружностью. В нем поражали большой выпуклый лоб и сосредоточенный взгляд его умных глаз... В глазах своих противников он был новатор и революционер, но в действительности всем своим существом он был укоренен в православии. В Пшерове он сразу занял место духовного руководителя, к нему потянулись все, его богослужения производили неизгладимое впечатление". (Там же, стр. 100).

Далее. "По матери француз, Бердяев имел большие темные глаза и красивое, одухотворенное лицо. Он отпускал волосы, носил берет, и походил скорее на поэта или художника, чем на профессора философии. У него был нервный тик, время от времени судорога искажала его прекрасное лицо.

Прямой противоположностью Бердяеву был Антон Владимирович Карташев. Его предки были крестьяне, переселенные на Урал для горных работ. Окончив Духовную Академию в Петербурге, он преподавал в ней церковную историю, но остался мирянином. При Временном Правительстве в 1917 году он был назначен Обер-Прокурором Синода и был последним лицом, занимавшим этот пост, так как при нем его ведомство было переименовано в Министерство Исповеданий. Его энергия во многом сделала возможным созыв Всероссийского Церков-

ного Собора, и потому русская церковь обязана Карташеву восстановлением патриаршества.

Со светло-серыми глазами и аккуратно подстриженной бородой, он напоминал не то волка, не то северную лису; он был весь складный, внимательный, слушал терпеливо собеседника, слегка склонив набок большую голову". (Стр. 101).

Очень интересны немногочисленные, правда, страницы, посвященные Митрополиту Антонию Храповицкому. Н.М.Зернов больше чем кто-либо другой понял всю трагическую противоречивость этого большого человека. Противоречивость эта заключалась в том, что, будучи по натуре новатором, богословом, прокладывающим новые пути, другом молодежи, врагом рутины, он стал с 1905 года знаменем, вокруг которого собирались самые крайние реакционеры, сначала из черносотенных Союза Русского Народа и Союза Михаила Архангела, а в эмиграции все монархические элементы.

Благодаря этому ему приходилось смирять себя, и многие замечательные его начинания так и остались незавершенными. Заглох и его проект катехизиса, осталась неразработанной и его теория искупления. Благодаря этому противоречивость, метания, неожиданная нерешительность, которую проявил Владыка в эмиграции. Основные вехи своей жизни Николай Михайлович определяет так: "Переезд и устройство наших родителей в Париже совпали с новыми событиями в нашей семье. Незадолго до их прибытия я стал женихом. Осенью 1927 года была моя свадьба с Милицей Владимиров-

ной Лавровой. Осенью 1929 года я уехал на всю зиму в Англию, потом два года я учился в Оксфорде, а в 1935 году мы с женой окончательно перебрались в Оксфорд". (Там же, стр. 134). С этого времени до конца своих дней Николай Михайлович живет в Англии.

## РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Из женских образов наиболее колоритен образ сестры Николая Михайловича — Софьи Михайловны. Ее характерной чертой является воля. При взгляде на нее невольно вспоминаются образы героических жен декабристов: княгини Марьи Николаевны Волконской, княгини Екатерины Николаевны Трубецкой, Анненковой и других; образы революционерок-народниц: Софьи Перовской, Веры Фигнер, Веры Засулич и приемной дочери русского народа Фани Каплан. А если в глубину русской истории, то боярыни Морозовой, княгини Урусовой, инокини Досифеи.

Сходство и в то же время резкое различие.

От революционерок-народниц она отличается тем, что она прежде всего христианка, глубоко верующая христианка. От древних раскольников она отличается своей широкой европейской культурой, своим умением быстро находить общий язык с иностранцами. Наконец, от аристократок-декабристок она отличается своей практичностью, простотой. Недаром она внучка русского священника-бурсака отца Стефана Зернова и правнучка мужичка диакона,

разжалованного в псаломщики. Во всяком случае, образ Софьи Михайловны — образ классический.

В одном месте она рассказывает, что в молодости она была необыкновенно привлекательна для мужчин. Смотрю на ее фотографию. Красавицей ее назвать нельзя, нельзя назвать и женственной. Лицо мужественное, черты лица резкие. Она, видимо, привлекала мужчин силой воли, решительностью, граничащей с героизмом. В этом ее обаяние. Еще в детстве она отличалась от других членов своей семьи решительностью.

Религиозные искания у нее выразились так, как ни у кого в ее семье. Она поставила перед собой дилемму: или атеизм (полный и бесповоротный) — или христианство, такое же полное и бесповоротное. И в личной жизни: или любовь, так уж полная, на всю жизнь, или разрыв.

”И, следуя строго  
Печальной Отчизны примеру,  
В надежде на Бога  
Хранит она детскую веру.  
Как племя родное  
У чуждых опоры не просит  
И в гордом покое  
Насмешку и зло переносит.  
От дерзкого взора  
В ней страсти не вспыхнут пожаром,  
Полюбит не скоро,  
Зато не разлюбит уж даром”\*.

---

\* М. Ю. Лермонтов. ”М. А. Щербатовой”.



В силу обстоятельств она не соприкасалась с народом. Однако, быть может, она рождена была быть народницей, народоволкой, эсеркой.

В первом томе (мы останавливались на этом эпизоде!) она, единственная из семьи Зерновых, в поезде спорила и говорила с солдатом и обменялась дружеским, братским рукопожатием с мужиком. И на всем протяжении своей жизни она такова. Она сумела найти общий язык и с американскими миллионерами, когда понадобилось доставать миллионные суммы на ИМКА-Пресс. Ее описание поездки в Америку принадлежит к шедеврам русской литературы. Но кульминационным пунктом ее деятельности являются ее парижские хлопоты при окончании войны. В этом отношении представляет собой огромный интерес девятая глава "Освобождение Франции".

Август 1944 года. Париж освобожден от лютого врага после четырех лет оккупации. Но и в этот радостный день нет покоя. "Какой-то русский передает мне", — рассказывает Софья Михайловна, — "что на соседней улице построен помост, на нем бреют головы женщинам за "их коллаборацию с немцами". Когда он проходил мимо, то видел, как одна из них перекрестилась по-православному перед тем, как ее посадили на стул позора. Он просил меня помочь ей. Почему меня, я не знала ее, что я могла сделать для нее? Я так хотела идти встречать армию-освободительницу! Но в глубине души я ощутила, что все кончено, что армию встречать я не пойду, потому что нельзя было допустить, чтобы фран-

цузская толпа издевалась над русской, над одной из нас, все равно — виновата она или нет. Я не могла вынести этого". (Стр. 316). Потом выяснилось, что позору подвергалась дочь белогвардейского генерала-эмигранта, причем безвинно, так как "она приводила к себе на квартиру русских подростков, завербованных в немецкую армию, переодевала их в штатское платье и помогала им бежать. Она несколько раз приходила ко мне, и я доставала им одежду. Теперь консьержка донесла на нее, сказала, что та принимала немецких солдат.

Я решила искать ее и позвонила Маргарите Рош-Загорецкой. Она согласилась пойти со мной.

Куда было идти? Как вырвать ее из рук толпы? По дороге мы встречали таких же бритых, полунгих женщин, в них бросали гнилыми яблоками и томатами, и толпа жестоко насмеялась над ними. Та толпа, которая несколько недель назад кланялась подобострастно немцам и искала покровительства у этих женщин". (там же, стр. 316).

И вот, после долгих мытарств она попадает в один из центров "Фи-Фи" (партизан). И как назло, в тот центр, где коммунисты. Далее передаем слово Софье Михайловне:

"Особо грубо меня встретили в коммунальной школе, около улицы Коммерс. Маргарита Загаровская осталась меня ждать на улице, и я вошла туда одна. Это был коммунистический центр, и первое, что меня спросили: русская ли я, и какая русская — красная или белая? Когда они узнали, что я "белая", они сразу стали выкрикивать, что им доста-

точно 5-ых колонн, что надо и мне сразу обрить голову, чтобы показать, что они освобождают Францию не только от немцев, но и от белых реакционеров и продажных женщин... Разговаривать с ними было бессмысленно. Я хотела уйти, но они преградили мне путь. Один из них крикнул: "Несите бритву!" Тут я поняла, что мое дело плохо.

Вероятно, в минуты опасности у нас являются инстинктивные силы самозащиты, и мы действуем, не размышляя, как поступить. Я подошла к главному "Фи-Фи" вплотную и, смотря ему в глаза, сказала: "Как", — говорила я, — "вы, французы, хотите осмелиться прикоснуться ко мне, русской? Вы — трусы и изменники своей родины. Что вы делали, чтобы сбросить немецкую оккупацию? Было ли хоть одно восстание? Вы появились сейчас с вашим оружием, когда немцы разбиты. Да, я русская. Но что вы знаете обо мне? Я белая русская, но о том, как вели себя белые русские по отношению к немцам, мы будем говорить с красными русскими. Откройте мне дверь. И, если вы принесете бритву, то я обрею все ваши головы, а не вы мне". Я говорила с таким гневом и силой, что они немедленно открыли мне дверь..." (Стр. 316-317).

Она в конце концов нашла среди других полуголых бритых женщин несчастную дочь генерала. И добилась того, что ее отпустили. "Мы вышли на улицу. Г-жа К. была толстая, с круглой большой бритой головой, на ней был надет лифчик и короткие нижние панталоны, ее голые ноги были черны от пыли парижских улиц, на ее щеках и груди красными чер-

нилами была нарисована свастика... Нам предстоял долгий путь пешком через весь Париж. Мы смело пустились в дорогу. За нами бежали люди, насмехались, выкрикивали что-то. Маргарита им отвечала, стыдила их, и этим еще более их раздражала. Наш путь был мучительный, среди враждебной, грубой и ликующей толпы. Уже поздно вечером мы привели О.В.К. домой.

Союзные армии без меня вступили в освобожденный Париж... У меня на душе не было больше ни ликования, ни восторга..." (Стр. 317).

Как эти строки напоминали мне и мое настроение в мае 1945 года, когда в День Победы я знал, что победа наших прекрасных русских ребят оборачивается победой кровожадных сталинских бандитов.

"На место цепей крепостных  
Люди придумают много иных".

После войны — последняя и, может быть, самая плодотворная пора деятельности Софьи Михайловны: основание приюта в Монжероне с православной церковью, спасение жизни многим русским людям, ни в чем не повинным, но над которыми нависла страшная угроза. Она работала до конца дней своих, и всегда оставалась пламенной верующей, резкой, полной любви и необыкновенно умелой, талантливой, умной, энергичной. Царство ей Небесное и вечная память и "там", у Христа, и здесь, на нашей земле.

”Я в своей жизни свое излюбила,  
Свечку свою дожгла до конца,  
Долг пред людьми, как могла — уплатила,  
Чашу свою до дна испила”, —

писала Софья Михайловна незадолго до своей смерти. (Там же, стр. 414).



И наряду с этим другой женский образ.

Милица Владимировна Лаврова, впоследствии жена Николая Михайловича.

Если Софья Михайловна — это тип героини, на-родницы, деятельницы, то Милица Владимировна — заботливая, добрая русская женщина. Из таких выходили сестры милосердия, которые, подвергая себя смертельной опасности, помогали раненым на поле боя, ходили за тифозными, заражались тифом и без счета умирали.

В дни гражданской войны и немецкой оккупации такие женщины укрывали тех, за кем гнались, кого хотели пристрелить, кому угрожала опасность.

По типу она напоминает петербургских девушек-”бесстужевок”, из которых вышли лучшие русские учительницы, воспитавшие сотни хороших русских людей. Практичность, простота и доброта — вот три черты Милицы Владимировны.

И символично, что рассказ о себе она называет ”Русская студентка”. (Стр. 371).

Тяжелые испытания ожидали тифлисскую барышню на пути к медицинскому диплому. Про-

славленный "архангельский мужик" может пожать ей руку. Побывала она и в прислугах, и в няньках. И кого-кого только не видела: и холодных эгоистов, и чванных буржуа, и несчастных белых генералов — эмигрантов, не имевших чем заплатить за обед. А затем она стала массажисткой, фельдшерицей. И оказалось, что у нее золотые руки. И она стала прославленным зубным врачом, получив в 1923 году диплом доктора медицины. И в числе ее пациентов — испанский король, злополучный Альфонс XIII, в числе ее собеседниц — английская королева Елизавета и тысячи простых бедных людей.

И в то же время — искания, непрестанная мысленная работа. И в результате всего пережитого она становится глубоко верующей христианкой. Она много размышляла о жизни и она поняла великую жизненную истину, открытую Апостолом Павлом, что отношения мужа и жены должны быть подобны отношению Христа с Церковью. Муж должен любить жену, как Христос возлюбил Церковь, и жена должна бояться оскорбить мужа, как Церковь боится оскорбить Христа. И в результате такой брак — подлинно христианский брак двух служителей Божиих.

Раб Божий Николай обручается рабе Божией Милице.

Раба Божия Милица обручается рабу Божьему Николаю.

И навсегда, навечно, Господь Бог наш славою и честью венчает их.

Вся жизнь этих людей пронизана верой. И в книге Зерновых вся жизнь этих людей. Еще в детстве лю-

ди учатся познавать Бога. Потом школа жизни. И брак как союз любви по образу союза Христа с Церковью.

И наконец, последний этап. Смерть. В книге есть две главы, посвященные описанию смерти. Смерть родителей Николая Михайловича и Милицы Владимировны. Глава XIII о смерти Владимира Андреевича Лаврова — отца Милицы Владимировны. И глава XIV — о смерти Михаила Степановича Зернова.

Эти две главы должен прочесть каждый верующий человек. Когда-то Н.А. Некрасов писал про своего безвременно умершего друга Н.А. Добролюбова:

”Суров ты был и в молодые годы  
Умел рассудку страсти подчинять,  
Учил ты жить для чести, для свободы,  
Но более учил ты умирать”.

Слова, которые следует поставить эпитафией к этим двум главам, повествующим о смерти глубоко верующих людей, — о смерти радостной и светлой, предвосхищающей будущую жизнь. И да пошлет Господь всем нам такую хорошую смерть.

Заключительные главы о миссионерских странствованиях Николая Михайловича и Милицы Владимировны в самые глухие уголки нашей планеты, — к примитивным, полудиким и добрым людям, — могут считаться классическими.

Итак, перед нами жизнь семьи. Интеллигентной семьи коренных москвичей. Страшно переменялся мир на их глазах, страшно переменялись

и они сами. Очень расширился их кругозор: из москвичей, русских, они преобразились (по словам Достоевского) во "всечеловеков". Многие отпало, многие надежды не осуществились, неизменно одно: Христос. Он около них всегда, — от раннего детства до гробовой доски. И в этом, быть может, предвосхищение исторических судеб родной страны.

## "ЗАКАТНЫЕ ГОДЫ"

Раскрыл последнюю часть трилогии. Начал читать. И в уме неожиданно мелькнуло знаменитое определение Белинским "Евгения Онегина": "энциклопедия русской жизни". Трилогию Зерновых я бы назвал "энциклопедией жизни современного религиозного человека". Здесь рассмотрены буквально все проблемы, которые пронизывают современную религиозную жизнь. И на все вопросы даны далеко не однозначные ответы. Конечно, не со всеми положениями можно согласиться, но несомненно одно: все ответы на "проклятые вопросы" не шаблонные, глубоко продуманные, выстраданные.

В первой части заключительной книги трилогии вновь поднимается экуменический вопрос — вопрос соединения христиан во "едино стадо".



Книга "Закатные годы" является достойным завершением трилогии.

Из многочисленных авторов — членов одной



семьи — оставались в живых только двое: Николай Михайлович и его жена Милица Владимировна. Николаю Михайловичу минуло уже 80. Но он не превратился в дряхлого старичка, которого кормят манной кашкой и который впадает в детство.

Он по-прежнему разъезжает по всей Европе, выступает с докладами, читает лекции, знакомится с новыми людьми. Именно к этому времени (весна 1975 года) относится наше с ним знакомство в Цюрихе, которое было продолжено в Англии. И самое главное — он мыслит. И "Закатные годы" закончены Николаем Михайловичем буквально за несколько часов до смерти. Причем последние главы он диктовал своей жене.

Первая глава — историческая, попытка осмыслить Октябрьскую революцию. Здесь его оценка совпадает с солженицынской оценкой событий и так же наивна и поверхностна, как у Солженицына.

Ну вот, например, такие строки:

"Ленин был бескомпромиссный воинствующий безбожник, атеизм составлял самую существенную часть его программы... Для меня несомненно, что ленинский утопизм мог соблазнить только людей, потерявших веру в Бога. Я не сомневался и не сомневаюсь, что красный террор, неслыханная, бесчисленная, бесчеловечная жестокость тюрем, лагерей и психиатрических больниц, созданных Советской властью, могли быть осуществлены только людьми, отрекшимися от христианского учения о Боге и человеке. ГУЛаг был бы немыслим в стране, где значительная часть населения оставалась бы хри-

стианской". (Н.М.Зернов. "Закатные годы". ИМКА-Пресс. 1981 г., стр. 27).

Гм! Гм! На полях против этого места мною написано еще при первом прочтении: "Инквизиция? Иван Грозный?"

Этот список можно было бы продолжить: а реформация, крестьянские войны в Германии XVI-XVII веках, которые происходили не только в странах, где большая часть населения была верующей, но и все эти зверства совершались под Христовым знаменем? Как объяснить эти зверства? А Столетняя война между двумя главными христианскими державами: Англией и Францией? Во время которой была сожжена Жанна д'Арк, убиты и замучены сотни тысяч мирных поселян, опустошены цветущие местности? Все это оказалось очень "мыслимо" и осуществлено людьми, которые отнюдь не отрекались от "христианского учения о Боге и человеке".

А тридцатилетняя война в XVII веке, которая также велась прямо во имя Христа (с обеих сторон), наконец, если перейти к России: ведь и Степан Разин и Пугачев, и весь их сброд были верующими людьми. Верующим человеком был и Петр I, и многие крепостники (как, например, знаменитая Салтычиха), и "благочестивейший" Николай Павлович (шпицрутены, каторга, двенадцать раз через строй). Наконец, никак нельзя сказать, что белые генералы были кротчайшими и тишайшими.

Все дело в другом. И здесь мы раскрываем Евангелие: "Не всякий говорящий мне: "Господи! Господи!" войдет в Царство Небесное, но исполняю-

щий Волю Отца Моего небесного. Многие скажут Мне в тот день: "Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли Именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?" И тогда объявлю им: "Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие". (Мф. 7-21, 22, 23).

В том-то и дело, что наряду с истинными христианами было очень много христиан мнимых. Во всемирно-историческом плане это создало ту метаморфозу, о которой говорит знаменитый духовный оратор 20-30-ых годов XX века:

"Церковь стала такой огромной силой, что из политических соображений стало в высокой степени важным для византийских императоров видеть в Церкви не некоторую, хотя и священную, оппозицию, но свою сначала союзницу, а потом... пленницу; оковало государство церковь, и на белоснежные одежды невесты Господней — смотрите внимательно — накладываются кандалы и цепи. К Церкви Господней подходят все эти византийские, лонгобардские, франкские монархи, они приносят добычу — золото и серебро, и те драгоценности, что в неправедных боях добывали силой воинской, они приносят ей как дар, они золотят ее купола, они драгоценностями расцвечивают ее стены, они дают ей бесконечное количество земель и рабов, но... посмотри, разве ты не видишь, когда какой-либо льстивый император целует благоговейным поцелуем руку невесты Господней, он в то же время накладывает на нее кандалы и цепи, пусть золотые... Церковь попа-

дает в плен к государству. Церковь держится окованной, в клетке. Да, эта клетка громадная, она такая большая, что может показаться, что ее нет. Да, кандалы, оковы и цепи, они не стальные, не железные, чтобы сразу было видно их безобразие. Они, может быть, подобны тонкой паутинке, золотой ниточке, но они металлические и держат крепко. И попала птица Господня в руки человеческие, и не могла она больше взлететь орлиными крыльями своими, и не могла парить она больше над миром и вещать миру Правду..." (Прот. А.И.Введенский. "Церковь и революция". 1923 г. Петроград. Цитирую по книге Анатолия Левитина и Вадима Шаврова "Очерки по истории Русской церковной смуты", т. I Стр. 109-110. Изд-во "Institut «Glaube in der 2 Welt»" Швейцария, 1978 г.)

Слова проникновенные и тем более примечательные, что сам проповедник был целиком опутан цепями, не золотыми, а железными: ЧК — ГПУ — МГБ. Но в данном случае он прав: церковь пришла в Россию из раблепной Византии и стала столь же раблепной в России, и сбылись на ней пророческие слова Спасителя: "Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так, по плодам их узнаете их". (Мф. 7, 19).

И об эмиграции. Вся беда в том, что значительная часть эмиграции (первая, вторая и третья) никак не может перерезать пуповину, связывающую ее со старой Россией, давно уже канувшей в вечность.

Она все еще является "Кобленцом" (Кобленц в 90-е годы XVIII века был, как известно, очагом

французской роялистской эмиграции). И пока она не перестанет быть Кобленцем, дело ее безнадежно. Но я надеюсь, что она изживет старые иллюзии и выйдет на мировые просторы, станет колоколом, которые зовет живых, искрой, из которой возгорится новое пламя.

Чета Зерновых, будучи воспитана старой Россией и старой эмиграцией, во многом перерезала эту пуповину и вышла на мировые просторы. В историю эта чета войдет как провозвестники истинного экуменизма. Пафос "Закатных годов" — это пафос экуменизма.

Н.М.Зернов говорит о возрождении религиозного духа в русской эмиграции.

Здесь очень интересны зарисовки православного Парижа 30-х годов. И, наконец, он переходит к экуменической теме: к встрече православных россиян с инославными исповеданиями. Он очень правильно определяет причину разногласий, приводящих к расколу, на примере русского старообрядчества XVII века. Основная причина та же, что и других зол, — подчинение Церкви государству: "Однако по мере роста Церкви споры начали приобретать новый характер. Победителям была обеспечена поддержка государственной власти...

В жизнь Церкви вошло насилие. Оно оправдывалось ревностью о чистоте веры. Непокорные объявлялись еретиками, их анафемствовали, не допускали к причастию". (Стр. 48).

И дальше о католической церкви. Николай Михайлович наносит сокрушительный удар по антихри-

стианским бредням некоторых эмигрантских владык о том, что католики (не исключая таких великих святых, как святой Франциск, Антоний Падуанский и т.д.) лишены благодати таинств. Он пишет: "Мы, православные, на собственном опыте знаем и верим, что несмотря на все наши грехи и заблуждения, наша Церковь не была оставлена Святым Духом. Она сохранила свое правоверие и благодатность своих таинств. Имеем ли мы право утверждать, что римокатолики были оставлены Богом? Что вся их церковная эволюция пошла по ложному пути? Как мы, так и они, верим, что благодать Святого Духа руководит жизнью Церкви, но не упраздняет человеческую свободу, и это делает возможным совершение тех ошибок, которые ведут к спорам и разделениям.

Католики и православные стоят перед одним и тем же вопросом: какая из церковных моделей дает лучшую возможность для воссоздания общения между Востоком и Западом?" (Стр. 51).

Далее следует очень объективное рассмотрение различных моделей церковных деноминаций: римско-католической, англиканской и православной.

Прочтя эти страницы, я ощутил чувство великого удовлетворения: я почти то же самое писал, примерно, одновременно в далекой Москве в 1963 году в статье "Больная Церковь".

Я прочел и вспомнил трогательную дарственную надпись Николая Михайловича на одной из его книг, подаренных мне: "Анатолию Эммануиловичу Левитину, жизнь которого шла долгие годы по па-

раллельному руслу с автором этих воспоминаний, но встретились они только в 1975 г.

Николай Зернов,  
25-III 75 г.  
Zürich.

И дальнейшее рассуждение Николая Михайловича полностью совпадает с моим. Он совершенно правильно констатирует полную беспочвенность мечтаний православных богословов о Втором и Третьем Риме. Он правильно отмечает грехи старой русской церкви: "Вместо упования на водительство Святого Духа православные искали (и ищут) защиты государства. Выполнение Христовых заповедей заменялось пышностью богослужений и тщательным выполнением обрядов. Члены Церкви закрывали глаза на преступления носителей власти, награждая их титулами благочестивых монархов. Неприглядная действительность политических соревнований и экономических злоупотреблений покрывалась символикой церковного благочестия". (Стр. 62-63).

И вывод. Он такой светлый и исполнен такой правды, что хочется назвать его боговдохновенным и переписать его целиком:

"Хочется верить, что потрясения революции и кровь мучеников не пропадут даром, что русские православные пойдут по пути, намеченному Московским Собором 1917-18 годов, который постановил, что русская Церковь отныне не должна отождествлять свою судьбу ни с одной формой государственного правления, но строить свою жизнь на основании соборности. Будущая независимая Русская Цер-

ковь в будущем правовом государстве может пойти по двум путям: замкнуться в самой себе, сосредоточить все свое внимание на решении несомненно труднейших внутренних проблем, считая себя единственной хранительницей чистоты православия (в духе зарубежной церкви), или же открыть свое сердце для всего христианского мира, искать общения с церквями, близкими ей по духу, и строить свою жизнь, не ища помощи у светской власти. На этом пути неизбежно должна произойти встреча с христианским Западом, и в первую очередь с римским католичеством". (Стр. 63).

Что я могу прибавить к этим вдохновенным словам? То, что я, недостойный диакон, говорил в алтаре в момент пресуществления святых даров: "Аминь, Аминь! Аминь!"



Николай Михайлович не принадлежал к чистым теоретикам: он, как и его жена, Милица Владимировна, практические деятели. Трудился Николай Михайлович до последнего дня своей жизни на ниве экуменического движения.

Книга "Закатные годы" изобилует интереснейшими и подробными рассказами об экуменических встречах, характеристиками церковных деятелей.

И заключительные главы о таинстве бракосочетание, о христианском браке.

И живая иллюстрация христианского брака. Брак Николая Михайловича и Милицы Владимировны. В истории русской литературы я знаю только



один такой брак: Ф.М.Достоевского и А.Г.Достоевской. Соединение настолько тесное, что кажется, это один человек. Полное единомыслие, и в то же время каждый полностью сохраняет свою индивидуальность.

Николай Михайлович умер 25 августа 1980 года. И за несколько часов до смерти он еще работал, диктовал Милице Владимировне свои воспоминания. И хочется проводить его из этого мира словами великого русского поэта:

”Потом приник он к изголовью,  
Последняя свершилась борьба,  
И Сам Спаситель отпустил с любовью  
Послушного и верного раба”.  
(Ф.И.Тютчев. ”На смерть графа Блудова”)

И еще одна книга Николая Михайловича — ”Русское религиозное возрождение XX века”. В России она может стать книгой, делающей эпоху. Ведь рассказывается русскому читателю, русской молодежи то, о чем они знают или понаслышке или вообще ничего не знают: о корифеях русской религиозной мысли XX века, о великих богоискателях, философах, писателях. И как отрадно, что эта книга уже проникла на русские просторы. Пожелаем ей там успеха и долгой, долгой жизни.



## ХРИСТИАНИН — СОЦИАЛИСТ — РЕВОЛЮЦИОНЕР

(К 70-летию Анатолия Краснова-Левитина)

В этих трех словах весь ни на что и ни на кого непохожий Анатолий Эммануилович — по крайней мере в наше время вообще, среди диссидентов в особенности. Иные утверждают, что эти три понятия несовместимы, что их сочетание — эклектика. Между тем подобное сочетание можно обнаружить уже у знаменитого *священника* Джона Болла — идеолога крестьянской *революции* XV века в Англии, вопрошавшего: "Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?" Царство пахарей *без* дворян — вот это и есть начало *социализма*, как извечное чаяние униженных, оскорбленных, угнетенных. По существу развивая это, Краснов-Левитин доказывает, что великому гуманисту — миролюбивому Сыну Божьему Иисусу Христу как первому социалисту не были противопоказаны революционные методы изгнания торгашей из храма и что антисоциалисты отходят от первоначального, подлинного христианства. (В скобках замечу, что я еще в детстве слышал, как возмущались бедные евреи в Киеве, что их

родичей хоронят на черном катафалке, в то время как родичей богатых евреев хоронят на серебряном: "Не по-Божески это, не по-Божески" — лютовали они. А совсем недавно на пляже в Греции, где мне пришлось побывать, буквально все возмущенно улюлюкали, когда над их головами пролетел вертолет Тины Анасис... Как все это контрастирует с вызвавшей особый восторг у В.Аксенова радостью некоего "альтруиста" по поводу того, что "у другого" — у капиталиста — имеются бриллианты или изумительно роскошный автомобиль!..)

...Краснов-Левитин всего на два года старше меня, — но и это сыграло определенную роль в том, что наши пути складывались совершенно по-разному: я, как уже мне приходилось писать, оказавшись в детдоме, после расстрела моего отца, прошел все звенья советского человека — октябренок, пионера, комсомольца, члена партии; Анатолий Эммануилович же, получивший хорошее воспитание в культурной русско-еврейской семье (он имел широкий доступ к двум великим культурам — иудейской и христианской), всего этого избежал и чуть ли не с детства обратился к церкви, а в юности набрел на остатки оппозиционных партий, что я лишь впоследствии постиг из книг... Но пришли мы в конечном счете к одному и тому же: отрицанию власти как жестоких коммунистических босов, так и алчных капиталистических "акул".

Правда, из "трех китов", на которых крепко стоит Анатолий Эммануилович (религия, социализм, революция), нас сближает лишь один — демократи-

ческий социализм, — да и его мы понимаем не совсем идентично: он больше "государственник", я же стою за отделение экономики от государства, за самоуправленческий, денационализированный, кибуцнианский социализм. Чем же мне так симпатичен этот человек? Главным образом его нравственными качествами, что так ценно особенно в наш жестокий век, пораженный болезнью моральной глухоты.

Анатолий Эммануилович отличается полным отсутствием конформизма, мимикризма, хамелеонства: его не беспокоит, соответствуют ли его мысли общепризнанным положениям или высказываниям каких-либо известных авторитетов в диссидентстве (иначе зачем было восставать против культа личности там? Чтобы поклоняться новому культу личности здесь?), он не принимает каждый раз новую окраску в зависимости от изменения среды или условий и не меняет взгляды, как перчатки, что оказалось свойственным иным нашим эмигрантам. Эти иные, не успев сойти с самолета в Вене, поспешили объявить себя то верующим, то антисоциалистами, то даже сторонниками самодержавия, "забыв", что несколько часов тому назад, живя в Москве, считали себя атеистами, социалистами, демократами... Анатолий Эммануилович же с самых юных лет был открытым христианином, глубоко верующим человеком и одновременно социалистом, увлекающимся идеями эсеров. Став правозащитником, он утверждал, что элементарные права человека могут быть введены в СССР путем революции, что право-

защитничество и революционность — не антиподы... Конечно, людям свойственно эволюционирование взглядов, — оно имеет определенное место и у Краснова-Левитина, но легковесная смена их — тем более в угоду какому-либо хлебодателю — претит ему как нечто сугубо безнравственное.

Краснова-Левитина можно с полным правом считать идеологом особого течения в диссидентстве — течения революционного христианского социализма. И здесь он подлинно оригинален.

Его идеологической оригинальности соответствует какая-то трогательная угловатость как свойство его темперамента. Эта угловатость проявляется как в его повадках, манерах, начиная с "поведения за столом", с исключительного, никому непонятного размашистого почерка, и кончая резкостями, дерзостями, колкостями в отношениях с людьми, что сменяется быстрой отходчивостью, готовностью извиниться, великодушием, добротой...

В памяти всплывают по ассоциации стихи студента-ифлийца талантливейшего поэта Павла Когана, ушедшего добровольцем на Отечественную войну и погибшего на фронте:

Я с детства не любил овал,  
Я с детства угол рисовал.

С детства не любил обтекаемости, лавирования, пресмыкательства и Краснов-Левитин, — его характеру присуща острота, резкая критичность, за что он схлопывал в жизни немало "шишек".

С этим сопрягается и почти аскетический образ жизни как там, так и здесь. (И это также отличает его как от тех эмигрантов, которые там материально жили кучеряво, а тут — плохо, или, наоборот, там жили плохо, а тут "обуржуазились", обзавелись именьями, — он же и там вел, и тут ведет один и тот же пуританский образ жизни). За 11 лет жизни в эмиграции Краснов-Левитин не стремился ни "недвижимость" приобрести, ни даже автомашину: он живет одиноко в маленькой однокомнатной квартирке. Больше того, он настолько заботится об участи, о судьбе другого человека, что счел себя не вправе просить свою жену быть вместе с ним в эмиграции: а вдруг он умрет, и она останется здесь одна, — что она, старая, одинокая, будет делать на чужбине? Его это удивительное самопожертвованное отношение к жене аналогично отношению Сахарова к Боннэр, готовому идти ради ее спасения на любую свою трагическую участь. Увы, подобная нравственная высота многим не только недоступна, — им не дано даже понять ее.

Будучи изгоем, аутсайдером в России, Анатолий Эмануилович, став затем эмигрантом, не начал петь дифирамбы и Западу: в своих книгах он вскрывает пороки и капиталистического образа жизни, что даже шокирует не только наших "демократов" филистерского типа, но даже таких сторонников "третьего пути", которые считают при этом возможным захлеб идеализировать "первый путь", т.е. западный.

Насколько бывший преподаватель литературы

и одновременно диакон, ставший диссидентом и публицистом, не заботится о том, чтобы своими публикациями легко нажить себе "политический капитал", дешевый успех, видно из его книг. Так, в книге "Два писателя", говоря много лестного о творчестве Солженицина и Максимова, он тут же приправляет это такими двумя-тремя горькими пилюлями в адрес первого, которые способны вызвать негодование знаменитого автора "Архипелага". В совсем недавно вышедшей книге "Из другой страны" он, например, описывая, как полагает, объективно деятельность руководителей НТС, тут же нелицеприятно критикует ряд сторон этой деятельности, равно как резко опровергает саму программу НТС, — всем этим автор, конечно, "не угодил" ни противникам, ни сторонникам этой организации. Но угодить, как следует из всей его 70-летней жизни — это не для него, это не его амплуа.

Еще в самый первый день приезда Краснова-Левитина на Запад, когда он тут же сказал голландскому журналисту, что является социалистом, встретивший его, христианского диссидента, друг заметил:

— Вот видите, он (журналист) уже сморщился — на что Анатолий Эммануилович в свойственной ему резкой манере "отфутболил":

— А мне наплевать.

— Так ведь Вас печатать не будут.

— Ну, так я буду заниматься самиздатом.

— Так просто?

— А мне не привыкать...

И так оно и получилось в значительной мере: ряд книг ему пришлось опубликовать по существу самиздатом (Но заметим в скобках: западный самиздат имеет, безусловно, то кардинальное преимущество перед советским, что за него не подвергаются обыскам и не отбывают тюремно-лагерно-психушечные сроки). Структура фраз в этих книгах почти телеграфная, они словно стреляют, — такая стилистика одним может не понравиться, другим, наоборот, импонирует.

Конечно, Краснов-Левитин не лишен недостатков, как и каждый смертный. Но даже недостатки его окрашены какой-то искренностью, почти детской непосредственностью, — и поэтому они как-то прощательны: он не выделяет "па", как писал Дидро в "Племяннике Рамо", не играет, не стремится выглядеть иным, чем он есть, не позирует.

Так, некоторые люди замечают: "Уж больно открыто честолюбив ваш Левитин". Да, он открыто — даже по-детски — обижается, когда его, ветерана диссидентского движения, одного из создателей первого правозащитного комитета — "Инициативной группы" — обходят, "затирают", не замечают, забывают упомянуть, не предоставляют слово, не приглашают на ту или иную конференцию... Он хочет, чтобы о нем знали, говорили, чтобы его читали...

Хорошо это или плохо?..

Вот, например, Маяковский, думаю, ханжил, говоря красиво: "Сочтемся славою" или "кроме све-же вымытой сорочки... мне ничего не надо..." Анатолий Эмануилович же действительно довольствуется



ся свежее вымытой сорочкой, но не скрывает при этом, что чувствителен и к вопросу о том, как люди относятся к тому, что он делает, говорит, пишет...

Проблема честолюбия, славолубия, тщеславия — это вообще предмет серьезного исследования, особенно вопрос о вреде или пользе этих феноменов для нашего демократического движения.

Когда иной, куда более честолюбивый человек, нежели Краснов-Левитин, замечает, что его чуть ли не коробит, если вслух сетуют на то, что с менее достойными и намного менее нюхавшими лагерного порошу носятся, как с писаной торбой, только лишь в силу "законов" сенсации, когда он считает такое сетование "бестактным", то это означает по существу, что он отстаивает тезис: "Надо уметь подать себя, уметь казаться", т.е. попросту притворяться. А ведь еще наш великий Пирогов решал этот вопрос в своей знаменитой статье "Быть и казаться" совсем по-другому.

Тем же, кто утверждает, что добрые дела надо совершать только ради них самих, а не ради честолюбия, напомним слова Вольтера, когда ему говорили, что император Юстиниан совершал добродетели во имя честолюбия: "Дай Бог, — воскликнул "фрэнкский князь", — побольше подобных честолюбцев!"...

Однако, с другой стороны, чрезмерное честолюбие, трансформирующееся в тщеславие, причиняет вред — особенно нашему движению: из-за тщеславия, сверхславолубия некоторых наших претендентов на роль лидеров мы никак не можем создать

*широкое* эффективное объединение, чем пользуются наши тоталитаристские душители. Вот почему добрые дела должны сочетаться лишь с таким уровнем честолюбия, который не нарушает чувства меры — без элементов интриганства, бесовщины. Именно этим требованиям отвечает поведение Анатолия Эммануиловича. Перефразируя Вольтера, скажу: "Дай Бог, чтобы ни у кого не было более безвредного, более безобидного честолюбия, чем у Краснова-Левитина!" Абсолютно нечестолюбивых людей нет. Кто говорит, что он — вовсе нечестолюбив, ханжит: каждый человек любит, когда окружающие замечают его хорошие деяния, — все дело, повторяю, в мере, в пропорциях сопряжения добродетели ради него самого со стремлением к признанию этого другими людьми (ибо человек ведь — существо общественное, как бы он ни мнил себя индивидуалистом).

Убежден, что многогранные деяния Анатолия Эммануиловича Краснова-Левитина за всю его долгую жизнь достойны нашего глубокого признания.

И прежде всего достойны такого признания его высоконравственные качества:

- не сверять свои взгляды с тем, нравятся ли они каким-либо авторитетам,

- не заражаться страшной болезнью, поразившей немало наших диссидентов в эмиграции — интриганством и бесовством,

- говорить неллицеприятную правду всем, часто от этого страдая самому.

- будучи резким, оставаться способным, однако, и извиняться.

— проявлять на деле щедрость, отзывчивость...

Дай Бог каждому из нас прийти к своему 70-летию с такой обоймой положительных нравственных данных!

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Письмо к другу-эмигранту . . . . .	5
<i>Глава первая. По морям, по волнам . . . . .</i>	<i>9</i>
<i>Глава вторая. Единое на потребу. . . . .</i>	<i>22</i>
<i>Глава третья. На церковных просторах . . . . .</i>	<i>35</i>
<i>Глава четвертая. Через Ламанш. . . . .</i>	<i>66</i>
<i>Приложение. Путиами истории.</i>	
Три книги Зерновых . . . . .	108
<i>Петр Абовин-Егидес. Христианин —</i>	
социалист — революционер. . . . .	161

## **КНИГИ А. КРАСНОВА-ЛЕВИТИНА**

**ЗАЩИТА ВЕРЫ В СССР.** С предисловием архиепископа Иоанна Сан-Францисского. Париж, 1966 г. Распродано.

**ДИАЛОГ С ЦЕРКОВНОЙ РОССИЕЙ.** Париж, 1967 г. Распродано.

**СТРОМАТЫ.** Германия, 1972.

**ЛИХИЕ ГОДЫ. 1925-41.** Воспоминания. Часть 1-я. Франция, 1977.

О церковном расколе 20-х—30-х гг., движение обновленчества, характеристики церковных деятелей.

**РУК ТВОИХ ЖАР. 1941-56.** Воспоминания. Часть 2-я. Израиль, 1979.

Картины русской жизни в одну из самых тра-

гических эпох. Война, диаконство у Введенского, послевоенный арест, лагерь и хрущевская реабилитация.

**В ПОИСКАХ НОВОГО ГРАДА.** Воспоминания. Часть 3-я, 1956-1970. Израиль, 1980.

О состоянии Церкви в послесталинский период. Знакомство с патриархами Алексием и Пименом, митрополитами Николаем, Нестором, Мануилом, Никодимом; с личными друзьями автора из религиозных кругов: протоиереем А. Менем, о. Дм. Дудко, о. Г. Якуниным, о. С. Желудковым и др.

**РОДНОЙ ПРОСТОР.** (Демократическое движение). Германия, 1981.

Описаны события периода 1964-74 гг. Сам участник демократического движения, А. Левитин-Краснов рассказывает о зарождении и формировании первых кружков молодежи, рукописных журналов; о творчестве, деятельности и трудных судьбах писателей и других интеллигентов, находившихся в центре оппозиционного движения: Тарсиса, Синявского, Даниэля, Гинзбурга, Галанскова, Лашковой, Добровольского, Буковского, Литвинова, Л. Богораз, Горбаневской, Габая, П. Григоренко, Якира, Красина, А. Сахарова.

**ЛЕВИТИН, А. и ШАВРОВ, В.** Очерки по истории рус-

ской церковной смуты. 3 тома в одной книге. Швейцария, 1978.

Фундаментальный труд об обновленческом расколе церкви при советской власти. В основе — множество ценных документов и свидетельских показаний. В сопровождении фотографий видных церковных деятелей.

У ВОРОТ. Сборник статей. Париж, 1982 г.

ДВА ПИСАТЕЛЯ. Париж, 1983 г.

Попытка объективной характеристики творчества А.И.Солженицына и В.Максимова.

ЗВЕЗДА МАИР. Париж, 1984 г.

Описание в беллетристической форме борьбы молодежи с советской властью в 30-х годах.

В ЧАС РАССВЕТА. Париж, 1984 г.

Сборник самиздатских московских статей 60-х годов.

ИЗ ДРУГОЙ СТРАНЫ. Париж, 1985 г.

(Эмиграция, выпуск первый).

лицо не знает, поднимая руку, — один, другой раз. Тот на меня смотрит очень пристально, но не подходит ко мне.

Вдруг через пять минут подъезжает автомобиль, и оттуда выходит какой-то весьма солидный господин и приглашает меня садиться в автомобиль. Я решаю, что это ошибка. Тогда он в лучших советских традициях вынимает "книжечку" и говорит по-немецки: "Полиция". И вот я в автомобиле, а через пять минут мы в полиции. Человек, которого я принял за Квачевского, оказался шпиком, а так как напротив семинарии находится американское посольство (грандиозное здание, не уступающее кардинальскому дворцу), то шпик меня принял за террориста или за руководителя террористической организации, который подает сигналы своим подручным. Через 15 минут все разъяснилось. Однако и этих 15 минут было достаточно, чтобы убедиться в очень малом отличии австрийской полиции от советской. Те же полицейские чугунные лица, та же готовность "тащить и не пущать" и даже запах в коридорах такой же. И я понял, что полисмен здесь свое дело туго знает. Ну что ж, это неплохо. Ведь их деятельность строго ограничена законами. Кстати сказать, выяснилось, что за пять минут до того, как меня задержали, сюда приходил Квачевский — справляться, где здесь находится семинария.

Вернувшись, я застал Квачевского, которому преподаватели рассказывали, как найти мою комнату. Он у меня пробыл до 2 часов ночи. Два лагерника пили крепкий чай, разрешали мировые пробле-





*Отец Александр Каргон в день своего восьмидесятилетия  
10.7.1977*

*Левитин-Краснов произносит приветственную речь.*

